

*O*тто фон
ИСМАРК

МЫСЛИ
И
ВОСПОМИНАНИЯ



FOLIO

Отто Бисмарк
Мысли и воспоминания

«Фолио»

1898

Бисмарк О.

Мысли и воспоминания / О. Бисмарк — «Фолио», 1898

Отто фон Бисмарк (1815–1898) – знаменитый немецкий дипломат, венцом политической деятельности которого стало создание Германской империи (1870–1918). Его «Мысли и воспоминания», которые были опубликованы в 1898 г., стали настоящим бестселлером: в своей книге он рассказал о том, какие события привели к рождению Второго рейха. Однако это не просто мемуары, это прежде всего политическое завещание «железного канцлера», обращенное к «сынам и внукам для понимания прошлого и поучения на будущее». Подводя итоги своей деятельности на политической арене, Бисмарк не просто хотел оправдаться перед современниками, но и предостеречь своих преемников от возможных ошибок в будущем.

© Бисмарк О., 1898

© Фолио, 1898

Содержание

Том I	5
Глава первая	5
Глава вторая	16
Глава третья	34
Глава четвертая	46
Глава пятая	55
Глава шестая	71
Глава седьмая	75
Глава восьмая	86
Глава девятая	110
Конец ознакомительного фрагмента.	118



1815–1898

Отто фон Бисмарк

Мысли и воспоминания

Том I

Глава первая

До первого соединенного ландтага

I

В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к пасхе 1832 г. окончил школу пантеистом. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства; к этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться *одному*, между тем как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламана с ее традициями Яна, в которой я воспитывался с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста, – я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Но эти впечатления оставались в стадии теоретического созерцания и были не настолько сильны, чтобы вытравить во мне врожденные прусско-монархические чувства. Мои исторические симпатии оставались на стороне власти. С точки зрения моих детских понятий о праве, Гармодий и Аристокитон были, так же как и Брут, преступниками, а Телль – бунтовщиком и убийцей. Меня раздражал любой немецкий князь, противодействовавший до Тридцатилетней войны императору; но, начиная с великого курфюрста, я был уже настолько пристрастен, что осуждал императора и находил естественной подготовку Семилетней войны. Тем не менее немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации (Burschenschaft), которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стрем-

ление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их еще ближе, то не мог одобрить и их экстравагантных политических взглядов, объяснявшихся недостатком образования и знакомства с существующими, исторически сложившимися условиями жизни, которые мне, в мои 17 лет, приходилось наблюдать непосредственной, нежели большинству старших, чем я, студентов; у меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности. В глубине души я тем не менее сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству; с моим другом, американцем Коффином я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже чем через двадцать лет.

Мой первый семестр совпал с Гамбахским праздником (27 мая 1832 г.), его песни остались в моей памяти; третий семестр совпал с Франкфуртским путчем (3 апреля 1833 г.). Эти факты произвели на меня отталкивающее впечатление; мне, воспитанному в прусском духе, претило насильственное посягательство на государственный порядок. Я возвратился в Берлин не столь либерально настроенным, как до моего отъезда оттуда. Но эта реакция вновь ослабла, после того как я вошел в более непосредственное соприкосновение с государственным механизмом. То, что я думал о внешней политике, которой публика мало в то время интересовалась, было в духе освободительных войн, воспринятых под углом зрения прусского офицера. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпейера и Пфальца возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. В период, предшествовавший 1848 г., аускультатору каммергерихта и правительственному референдариию без связей в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократической лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. В качестве примера, достойного в этом отношении подражания, мне в моем семейном кругу указывали тогда на таких людей, как Поммер-Эше и Дельбрюк, а в качестве подходящего направления деятельности рекомендовали работать [в органах] Таможенного союза. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность даже после того, как встретил мало поощряющий прием со стороны министра Ансильона при моем обращении к нему по этому поводу. Как на образец тех качеств, которых недоставало нашей дипломатии, он указывал – не мне лично, а высшим сферам – на князя Феликса Лихновского, хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственное отношение со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства.

Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения и не в состоянии было возместить недостаток в дарованиях, который он замечал в личном составе этого ведомства. Такой взгляд имел известное основание. В качестве министра я всегда питал особое расположение к коренным прусским дипломатам, как к своим землякам, но долг службы редко позволял мне проявлять это предпочтение на деле: обычно – лишь в тех случаях, когда я имел дело с лицами, перешедшими с военной службы на дипломатическую. У чисто прусских дипломатов из штатских, не знакомых вовсе или недостаточно знакомых с военной дисциплиной, я обыкновенно встречал излишнюю склонность к критике, к всезнайству, к оппозиции и личной обидчивости; все это усиливалось неудовольствием, которое испытывает эгалитарное чувство старого прусского дворянина, когда человек одного с ним положения оказывается выше его или, – вне отношений, связанных с военной службой, – становится его начальством. В армии эти круги на протяжении столетий свыклись с подобной возможностью и, достигнув более высоких постов, вымещают на своих подчиненных остаток того недовольства, которое испытывали сами по отношению к прежнему начальству. В дипломатии дело осложняется тем, что аспиранты из числа состоятельных лиц

или лиц, случайно владеющих иностранными языками, особенно французским, претендуют в силу этого на особые преимущества и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Знание языков, хотя бы в объеме знаний обер-кельнера, легко давало у нас людям повод считать себя призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предъявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые *ad regem* [королю], писались на французском языке. Правда, это соблюдалось не всегда, но официально оставалось в силе до моего назначения министром. Из числа наших посланников старшего поколения я знавал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком; да и они сообщали в своих донесениях только то, что могли бегло изложить на этом языке. Мне еще в 1862 г. приходилось писать свои служебные донесения из Петербурга по-французски; посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению.

Кроме того, Ансильон был не так уж неправ, находя, что большинство аспирантов из кругов нашего поместного дворянства обычно лишь с трудом отрешалось от узкого круга своих тогдашних берлинских, так сказать, провинциальных взглядов; он считал, что на дипломатическом поприще им было бы нелегко изжить в себе специфически *пруссских* бюрократов и приобрести лоск *европейских*. К чему это приводило, становится ясным, когда просматриваешь списки наших дипломатов того времени; поражаешься, как мало среди них настоящих пруссаков. Быть сыном аккредитованного в Берлине чужого посланника уже само по себе являлось основанием для привилегий. Дипломаты, выросшие при мелких дворах и принятые затем на прусскую службу, нередко были в более выгодном положении по сравнению с местными уроженцами, так как держались в придворных кругах с большей *assurance* (уверенностью) и были менее застенчивы. Примером мог бы послужить прежде всего господин фон Шлейниц. В списках следуют далее члены владетельных домов: происхождение заменяло им таланты. Ко времени когда я был назначен во Франкфурт, кроме меня, барона Карла фон Вертера, Каница и женатого на француженке графа Макса Гацфельда, я едва ли припомню хотя бы одного дипломата прусского происхождения, который возглавлял бы где-либо крупную миссию. Иностранные фамилии котировались выше: Брасье, Перпонше, Савиньи, Ориола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они «издалека». [Дипломаты прусского происхождения] обычно обнаруживали, кроме того, недостаточную готовность брать на себя ответственность во всех случаях, когда нельзя было укрыться за совершенно точными инструкциями, подобно тому как это было в армии 1806 г., при господстве старой школы времен Фридриха. Мы уже тогда выращивали непревзойденный ни одним государством офицерский материал – вплоть до полкового командира, но за этими пределами прусская кровь перестала оплодотворяться дарованиями, как это было при самом Фридрихе Великом. Наши полководцы, добивавшиеся наибольших успехов, – Блюхер, Гнейзенау, Мольтке, Гебен не были исконными пруссаками, точно так же как Штейн, Гарденберг, Моц и Грольман – на поприще гражданской службы. Дело обстоит так, как если бы наши государственные люди, подобно деревьям в питомнике, нуждались в пересадке для полного развития своих корней.

Ансильон посоветовал мне выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора, а затем уже окольным путем, поработав в Таможенном союзе, искать доступа в *германскую* дипломатию Пруссии; призвания к европейской дипломатии он, повидимому, не ожидал от отпрыска отечественного поместного дворянства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора.

Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение аускультатора начиналось с ведения протоколов уголовного суда. Советник фон Браухич, к

которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из «расследований», как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организация участников по клубам, списки, нивелирующее влияние совместного занятия запретным представителей положительно всех сословий – все это уже в 1835 г. свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнце (октябрь 1891 г.). Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы министерством юстиции, как говорили, по настоянию князя Витгенштейна и не были возвращены по крайней мере до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде.

Проработав четыре месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынужденным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадией самостоятельной работы юриста-новичка. Дела этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии Преториус и велись при нем совсем зелеными юнцами-аускультаторами, которые производили, таким образом, *in cogroge vilii* [на второстепенном материале] свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина Преториуса, но обычно в его отсутствие. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что, когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить: «Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа»; иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует.

Однажды мне пришлось обратиться к нему, так как я оказался в затруднительном положении: мне, в мои двадцать лет и несколько месяцев, предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской четы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал Преториуса в дурном настроении не вовремя разбуженного пожилого человека, разделявшего к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов нерасположение к молодым дворянам. «Досадно, господин референдарий, – сказал он мне с пренебрежительной усмешкой, – когда человек до такой степени беспомощен, я покажу вам, как это делается». Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена – нет, муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась в своей невинности и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем. Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами: «Не будь дурой. Зачем тебе это? Придешь домой – муж избьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто «да», и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». – «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», – завопила женщина. После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами: «Она не хочет внять голосу благоразумия; пишите, господин референдарий. . .» – и продиктовал мне заключение; оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова: «После того как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения, основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, было решено, как ниже следует». Мой начальник поднялся со словами: «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его до дверей и продолжал разбирательство. Мой стаж по бракоразводным делам продолжался, сколько помнится, от четырех до шести недель, но мне уже не приходилось больше мирить стороны. Налицо была определенная потребность в *указе*, который регу-

лировал бы бракоразводный процесс, чем и пришлось ограничиться Фридриху Вильгельму IV после того, как его попытка издать *закон* об изменении имущественно-брачного права потерпела неудачу в результате сопротивления государственного совета. Следует при этом отметить, что упомянутым указом впервые в провинциях общего земского права вводился институт государственных стряпчих, которые должны были выступать в качестве *defensores matrimonii* [блюстителей брака] и защитников интересов третьих лиц против тайного сговора сторон.

Более привлекательной была следующая стадия разбирательства мелких дел. Молодой, неопытный юрист приобретал здесь по крайней мере навык в приеме жалоб и опросе свидетелей, хотя в общем его больше использовали как подсобного работника и меньше занимались его обучением. Помещение суда и судебное производство несколько напоминали светлую обстановку у железнодорожной кассы. Пространство, где, спиной к публике, заседали председательствующий советник и три или четыре аускультатора, было обнесено деревянным барьером, и перед образовавшимся таким образом четырехугольником толпились стороны, сменяя друг друга и производя то больший, то меньший шум.

Мое общее впечатление от лиц и учреждений не изменилось существенным образом с моим переходом в административное ведомство. Стремясь сократить окольный путь к дипломатической карьере, я избрал одно из рейнских управлений, а именно аахенское; курс работы в этом управлении мог быть сокращен до двух лет, тогда как в старых прусских провинциях на это требовалось не менее трех лет.

Мне представляется, что при комплектовании рейнских административных коллегий в 1816 г. поступали подобно тому, как в 1871 г. при организации управления Эльзас-Лотарингии. Власти, которым приходилось уступать часть своего персонала, не считались, видимо, с государственной необходимостью дать лучшее из того, чем они располагали, для выполнения трудной задачи ассимиляции вновь присоединенного населения, а отбирали чиновников, ухода которых желало начальство или они сами; в коллегиях все еще встречались бывшие секретари префектур и другие остатки французской администрации. Личный состав не всегда отвечал тому несколько необоснованному идеалу, который витал передо мной, когда мне было 21 год; еще менее соответствовало ему содержание текущей работы. Мне вспоминается, что при частых разногласиях между чиновниками и населением или среди каждой из этих сторон – разногласиях, полемика вокруг которых длилась годами и нагромождала груды дел, – я обычно оставался под впечатлением: «да, пожалуй, можно сделать и так»; вопросы, то или иное решение которых не стоило затраченной на них бумаги, вполне могли быть разрешены одним префектом при затрате вчетверо меньшего количества труда. Если не считать низшего служебного персонала, то при всем том работа, которую в течение дня должен был выполнить чиновник, была невелика, должности же начальников отделений были чистой синекурой. Уезжая из Аахена, я составил себе невысокое мнение о нашей бюрократии в общем и об отдельных ее представителях в частности, за исключением даровитого президента графа Арнима Бойценбурга. Но относительно некоторых лиц это мнение изменилось в более благоприятном для них смысле, когда я вскоре познакомился с потсдамским управлением, куда я был переведен в 1837 г. по собственному моему желанию; косвенные налоги находились там, в отличие от других провинций, в ведении администрации, а именно они приобретали для меня особое значение, если я действительно стремился сделать таможенную политику базисом моего будущего.

Члены коллегии произвели здесь на меня более достойное впечатление по сравнению с аахенскими, но в своей совокупности они все же представлялись мне людьми с косичкой и в парике. К той же категории я в силу юношеской заносчивости причислял и патриархально-почтенного обер-президента фон Бассевица. В отличие от него аахенский регирунгс-президент граф Арним хотя и казался мне также человеком в парике общепринятого на государственной службе образца, но без косички – в переносном смысле слова. Переменив впоследствии государственную службу на жизнь в деревне, я в своих взаимоотношениях поме-

щика с властями сохранил, как мне теперь представляется, очень уж отрицательное мнение о достоинствах нашей бюрократии и, пожалуй, чрезмерную склонность критиковать ее. Помню, как мне, замещавшему тогда ландрата, пришлось дать однажды заключение по плану об отмене выборности ландратов. Я высказался в том смысле, что уважение к бюрократии падает по мере удаления [по иерархической лестнице] от ландрата кверху. Уважением бюрократия пользуется только в образе ландрата – фигуры с головой Януса, одно лицо которого обращено к бюрократии, другое – к земству.

Склонность к нелепому вмешательству в самые разнообразные стороны жизни проявлялась при тогдашнем патриархальном режиме, быть может, сильнее, чем в наше время; но те, кто осуществлял это вмешательство, были не столь многочисленны и стояли по уровню своего образования и воспитания выше части своих теперешних преемников. Чиновники достославного королевского правительства были честными, образованными и благовоспитанными чиновниками. Но их благожелательная деятельность не всегда встречала признание, так как сопровождалась недостаточным знакомством с местными условиями и разменивалась на мелочи, относительно которых взгляды ученого горожанина за канцелярским столом не всегда выдерживали критику простого человеческого здравого смысла крестьянина. Членам административных коллегий приходилось тогда делать *multa*, а не *multum* [много, но незначительное]. Отсутствие более высоких задач приводило к тому, что они не находили себе достаточного количества действительно нужной работы и в своем должностном рвении выходили далеко за пределы потребностей управляемых, впадая в манию регламентирования, в то, что швейцарцы называют «*Befehlerle*» [«повелительство»].

Если бросить для сравнения беглый взгляд в сторону современности, то придется отметить: в свое время надеялись, что после введения действующей ныне системы местного самоуправления государственные учреждения будут избавлены от излишка дел и чиновников. На самом деле получилось нечто прямо противоположное этому: количество чиновников и их загруженность делами значительно возросли в связи с увеличением переписки и возникновением трений между административными инстанциями и органами самоуправления, начиная от провинциального совета и кончая сельским общинным управлением. Раньше или позже наступит критический момент, когда мы окажемся раздавленными под бременем писанины, а главное – низшей бюрократии. Наряду с этим бюрократическое давление на частную жизнь усилилось еще и благодаря тому способу, каким осуществляется «самоуправление»; в сельских общинах оно ощущается теперь острее, чем прежде. Некогда столь же близкий населению и государству ландрат представлял собой последнее звено государственной бюрократии; еще ниже стояли местные органы, которые подлежали, правда, контролю дисциплинарной власти окружной и центральной бюрократии, но не в такой мере, как сейчас. То самоуправление, какое предоставлено теперь сельскому населению, вовсе не равноценно автономии, которой издавна пользуются города: в лице старшины оно получило начальника, который по приказам свыше, со стороны ландрата, и под угрозой дисциплинарных взысканий оказывается вынужденным обременять своих сограждан в пределах своего округа всякого рода списками, извещениями, требованиями, – все это в соответствии с общим духом государственной иерархии. Управляемые – *contribuens plebs* [платящий народ] – не обладают уже более в лице ландрата гарантией против неуместного вмешательства в свои дела, гарантией, выразившейся прежде всего в том, что ставший ландратом житель того или иного округа имел обычно твердое намерение оставаться здесь в этой должности всю свою жизнь и разделял, таким образом, радости и горести своего округа. Пост ландрата оказался теперь низкой ступенью дальнейшего продвижения на административном поприще, и его домогаются молодые ассессоры, побуждаемые к тому законным честолюбивым стремлением сделать карьеру; для достижения этой цели они нуждаются не столько в добрых чувствах жителей округа по отношению к ним, сколько в благоволении министра, и стараются снискать его, проявляя исключительное рвение и оказывая всемерное

давление на старшин мнимого самоуправления при осуществлении даже никчемных бюрократических экспериментов. В этом заключается в значительной мере причина переобременения подчиненного им населения в системе местного «самоуправления». «Самоуправление» означает, таким образом, резкое усиление бюрократии, умножение чиновников, их власти и их вмешательства в частную жизнь.

Природе человека присуще свойство, в силу которого он, соприкасаясь с теми или другими порядками, склонен чувствовать и видеть прежде всего шипы, а не розы. Эти шипы вызывают раздражение против того, что в данное время существует. Старые правительственные чиновники, вступая в непосредственное соприкосновение с управляемым населением, проявляли педантизм и отчужденность от практической жизни благодаря своим занятиям за зеленым сукном. Но вместе с тем оставалось впечатление, что они искренно и добросовестно стремились быть справедливыми. Этого нельзя сказать об отдельных звеньях современного местного самоуправления в тех частях страны, где партии резко противостоят друг другу; благосклонность к политическим единомышленникам и предубежденное отношение к противникам нередко препятствуют беспристрастной работе учреждений. Сопоставляя на основании моего опыта, относящегося к тому времени, и более позднему периоду, судебные решения с административными с точки зрения их беспристрастия, я не могу признать превосходство исключительно лишь за первыми, по крайней мере – не во всех случаях. У меня, наоборот, создалось впечатление, что судьи низших и местных инстанций легче и полнее поддаются сильному воздействию партийных течений, чем чиновники администрации; да и едва ли можно найти какое-либо психологическое основание к тому, чтобы при одинаковом образовании судей и чиновников последние а priori [заранее] должны были считаться менее справедливыми и добросовестными в своих должностных решениях, чем первые. Но я согласен, что административные постановления отнюдь не выигрывают ни в смысле честности, ни в смысле своего соответствия существу дела от того, что они принимаются коллегиально; независимо от того, что при решении вопроса большинством голосов арифметика и случай заступают место логического обоснования, чувство личной ответственности, – эта существенная гарантия добросовестности решения, – утрачивается сразу же, когда что-либо решает анонимное большинство.

Ход дел в обеих коллегиях, как в Потсдаме, так и в Аахене, не мог возбудить во мне особого рвения. Я находил порученный мне круг занятий мелочным и скучным; воспоминания о моей работе по процессам о невзносе пошлин с помола и в связи с повинностью по постройке плотины в Роцисе, близ Вустергаузена, не вызывали во мне впоследствии желания возвратиться к моей тогдашней деятельности. Отказавшись от честолюбивой мечты о чиновничьей карьере, я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями. Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась. Остававшееся еще у меня в деревенской обстановке честолюбие было честолюбием лейтенанта ландвера.

II

Впечатления, воспринятые мною в детстве, мало способствовали тому, чтобы во мне развились черты, свойственные юнкеру. В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов Песталоцци и Яна, частичка «фон» перед моей фамилией мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Равным образом в гимназии у Серого монастыря (zum Grauen Kloster) мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства как воспоминание из времен, предшествовавших 1806 г. Но даже эта агрессивная тенденция, которая проявлялась при известных обстоятельствах в бюргерских кругах,

ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий. Отец мой был чужд аристократических предрассудков, и если даже свойственное ему внутреннее чувство равенства и подверглось, быть может, некоторым изменениям, то только под влиянием офицерских впечатлений молодости, а отнюдь не в силу преувеличенного представления о преимуществах происхождения. Мать моя была дочерью Менкена, советника кабинета Фридриха Великого, Фридриха-Вильгельма II и Фридриха-Вильгельма III; Менкен слыл в придворных кругах того времени либералом; он происходил из лейпцигской профессорской семьи; ее последние, ближайшие ко мне представители оказались в Пруссии на службе в иностранном ведомстве и при дворе. Барон фон Штейн отзывался о моем деде Менкене, как о честном и весьма либеральном чиновнике. При таких обстоятельствах воспринятые мной с молоком матери взгляды были скорее либеральными, нежели реакционными, и если бы моя мать дожила до времени моей министерской деятельности, то она вряд ли была бы согласна с направлением этой деятельности, хотя внешний успех, сопровождавший мою служебную карьеру, чрезвычайно порадовал бы ее. Она выросла в бюрократических и придворных кругах. Фридрих-Вильгельм IV, вспоминая о своих детских играх с нею, называл ее Минхен. Я могу, таким образом, подчеркнуть, насколько несправедливой является такая оценка моих юношеских взглядов, когда мне приписывают «предрассудки моего сословия» и утверждают, будто воспоминание о прерогативах дворянства послужило исходным пунктом моей внутренней политики.



Фамильный герб Отто фон Бисмарка



Мать Отто фон Бисмарка, Вильгельмина фон Бисмарк, урожденная Менкен. *Худ. В. Аллерс*

Равным образом и неограниченный авторитет старой прусской королевской власти не был и не является последним словом моих убеждений. На первом Соединенном ландтаге я был, правда, убежден, что в государственно-правовом смысле такой авторитет монарха налицо, но при этом рассчитывал и стремился к тому, чтобы в будущем неограниченная власть короля постепенно определила сама меру своего ограничения. Абсолютизм требует от правителя в первую очередь беспристрастия, честности, верности своему долгу, работоспособности и скромности. Но даже когда монарх обладает всеми этими достоинствами, то и тогда фавориты – мужчины и женщины, в лучшем случае законная супруга, – собственное тщеславие и восприимчивость по отношению к лести отнимают у государства часть плодов королев-

ского благоволения, ибо монарх не всеведущ и не может одинаково успешно охватить все стоящие перед ним задачи. Я уже в 1847 г. стоял за то, что следует добиваться возможности публичной критики правительства в парламенте и прессе, дабы избежать грозящей монарху опасности со стороны женщин, придворных, карьеристов и фантазеров, стремящихся держать монарха в шорах и мешающих ему видеть его монаршие задачи во всем их объеме и предупредить или выправлять злоупотребления. Мои воззрения на этот счет становились все более четкими и определенными по мере того, как я ближе знакомился с придворными кругами и должен был отстаивать государственный интерес вопреки придворным течениям и оппозиции со стороны ведомственного патриотизма. Лишь государственный интерес руководил мной, и клевета, когда даже благожелательные ко мне публицисты обвиняют меня в том, будто я когда бы то ни было отстаивал господство дворянства. Я никогда не считал, что происхождение способно восполнить недостаток деловитости; если я и защищал землевладение, то делал это не в интересах землевладельцев одного со мною сословия, а потому, что в упадке сельского хозяйства я вижу одну из величайших опасностей для всего нашего государственного существования. В качестве идеала мне всегда представлялась монархическая власть, которая контролировалась бы независимым, по моему мнению – сословным или профессиональным, представительством от страны в той степени, в какой это необходимо, чтобы ни монарх, ни парламент не могли изменять существующее правовое состояние *односторонне*, а лишь *comptinī consensu* [с общего согласия] при условии гласности и публичной критики прессой и ландтагом всего происходящего в государстве.

Даже люди, считающие, что наиболее подходящей формой управления немецкими подданными является бесконтрольный абсолютизм в таком виде, как он был впервые выдвинут на сцену Людовиком XIV, теряют это убеждение при специальном изучении истории отдельных дворов и в результате критических наблюдений, подобных тем, какие я имел возможность производить во времена Мантейфеля при дворе короля Фридриха-Вильгельма IV, лично любимого и почитаемого мною. Король был верившим в свою миссию абсолютистом, и министры после Бранденбурга обычно [бывали] довольны, когда они оказывались под прикрытием королевской подписи даже в тех случаях, когда они лично не могли бы нести ответственность за содержание подписанного. Я слышал однажды, как при известии о невшатальском восстании роялистов высокопоставленный и абсолютистски настроенный придворный сказал при мне и нескольких своих коллегах не без некоторого смущения: «Это – роялизм, который можно встретить в наши дни лишь на большом расстоянии от двора». Сарказмы были, вообще говоря, не в нравах этого старого вельможи.

Мои наблюдения над взяточничеством и крючкотворством окружных фельдфебелей (Bezirksfeldwebeln) и мелких чиновников в деревне и небольшие конфликты со штеттинским управлением, в которые я оказался вовлеченным, как депутат от уезда и заместитель ландрата, усилили мою неприязнь к господству бюрократии. Упомяну об одном из этих конфликтов. В то время как я замещал находившегося в отпуске ландрата, мною было получено предписание окружного управления побудить владельца Кюльца – а это был я сам – взять на себя определенные повинности. Я отложил предписание в сторону с тем, чтобы передать его ландрату после возвращения последнего, но получил повторные напоминания, и на меня наложили дисциплинарный штраф в размере одного талера со взысканием по почте. Тогда я составил протокол, в котором значилось, что я явился, во-первых, как заместитель ландрата, во-вторых, как владелец Кюльца. Присутствующий сделал самому себе в первом своем качестве предписанное внушение, а затем, в своем втором качестве, изложил мотивы, по которым он должен отклонить обращенное к нему требование, после чего протокол был им дважды подтвержден и подписан. В управлении понимали толк в шутках и распорядились вернуть мне штраф. В других случаях дело доходило до более неприятных трений. Я стал обнаруживать склонность к критике и оказался, следовательно, «либералом» в том смысле, в каком применяли в то время это слово в

помещичьих кругах для обозначения недовольства бюрократией, которая со своей стороны в лице большинства своих членов была более либеральной, чем я, но только в ином смысле.

Мое сословно-либеральное настроение не пользовалось в Померании достаточным пониманием и сочувствием; в Шенгаузене же оно встретило одобрение со стороны соседей по уезду: графа Вартенслебена-Каров, Ширштедта-Дален и других, – это были те же элементы, которые в известной своей части принадлежали к церковным попечителям, осужденным по суду позднее, при «новой эре». Из этого настроения я был снова выведен несимпатичным мне направлением оппозиции первого Соединенного ландтага, к участию в работах которого я был призван лишь в последние шесть недель сессии в качестве заместителя заболевшего депутата фон Браухича. Речи представителей Восточной Пруссии Заукена-Тарпучен, Альфреда Ауэрсвальда, сентиментальность Бекерата, рейнско-французский либерализм Хейдта и Мевиссена и громкая порывистость речей Финке – все это внушало мне отвращение; когда я теперь еще перечитываю эти дебаты, они производят на меня впечатление импортированного шаблонного фразерства. У меня было такое ощущение, что король – на правильном пути и имеет право на то, чтобы ему дали время и отнеслись со всей деликатностью к его собственному развитию.

У меня начался конфликт с оппозицией, когда я 17 мая 1847 г. впервые взял слово для довольно пространныго выступления. Я опровергал в нем легенду, будто пруссаки пошли в 1813 г. на войну, чтобы добиться конституции, и дал выход своему естественному возмущению по поводу того, что господство иноземцев само по себе не могло быть якобы достаточным основанием для борьбы. Мне казалось недостойным, когда за то, что нация *сама себя* освободила, она собирается предъявить королю счет, расплата по которому должна быть произведена параграфами конституции. Мои слова вызвали бурю. Я остался на трибуне, перелистывал лежавшую там газету и, после того как волнение улеглось, закончил свою речь.

На придворных празднествах, происходивших во время Соединенного ландтага, король и принцесса Прусская явно избегали меня, но по разным мотивам: принцесса потому, что я не был либералом и не пользовался популярностью, а король по причине, которая стала для меня ясной лишь позднее. Когда во время приема членов ландтага король избегал говорить со мною или когда во дворце, обходя круг и заговаривая с каждым по очереди, он смолкал, как только доходил до меня, возвращался обратно или направлялся на противоположный конец зала, – в такие моменты у меня невольно являлось подозрение, что я в своем пылком увлечении роялизмом переступил границы, которые король поставил себе. Неосновательность этого предположения выяснилась лишь несколько месяцев спустя, когда, совершая мое свадебное путешествие, я посетил Венецию. Король, узнав меня в театре, назначил мне на другой день аудиенцию и пригласил к столу. Это было для меня такой неожиданностью, что при моем легком багаже и неумелости местных портных я был лишен возможности явиться в соответствующем случае костюме. Прием был настолько милостив, и беседа, между прочим и на политические темы, была такова, что я мог заключить из нее об одобрении и поощрении занятой мной в ландтаге позиции. Король приказал мне являться к нему зимой, что и имело место. При этом, а также на малых обедах во дворце я убедился в полном благоволении ко мне обоих высочайших особ и в том, что король, избегавший в период сессий ландтага говорить со мной публично, не имел намерения выразить этим порицание моему политическому поведению, а стремился лишь не обнаруживать тогда своего одобрения перед посторонними.

Глава вторая 1848 год

I

Первое известие о событиях 18 и 19 марта 1848 г. я получил в доме моего соседа по имени, графа фон Вартенслебена-Каров, где нашли приют бежавшие из Берлина дамы. Политическое значение событий подействовало на меня в первый момент не так сильно, как возмущивший меня факт убийства наших солдат на улицах города. Король, – думал я, – быстро стал бы хозяином политического положения, если бы только он был свободен; ближайшей задачей я считал освобождение короля, который оказался, по-видимому, во власти мятежников.

20-го числа шенгаузенские крестьяне сообщили мне, что приходили делегаты из расположенного в трех четвертях мили Тангермюнде с требованием водрузить, по примеру их города, трехцветное черно-красно-золотое знамя на колокольне, пригрозив возвратиться, в случае отказа, с подкреплением. Я спросил крестьян, намерены ли они воспротивиться этому, они ответили единодушным и горячим «да», и я посоветовал им выгнать из села горожан, что и было исполнено при живейшем участии женщин. Затем я приказал взять из церкви и поднять на колокольне белое знамя с черным крестом, воспроизводившим форму железного креста, и выяснил, сколько было в деревне ружей и огнестрельных припасов. Налицо оказалось до пятидесяти крестьянских охотничьих ружей. У меня тоже нашлось штук двадцать, считая и старинное оружие. За порохом я послал верховых в Ерихов и Ратенов.

Затем, вместе с женой, я проехал по окрестным деревням и убедился, с каким усердием крестьяне готовы идти на Берлин выручать короля. Особым воодушевлением отличался старый смотритель плотины в Нейермарке Краузе, служивший некогда вахмистром «карабинеров» в полку у моего отца. Лишь мой ближайший сосед сочувствовал берлинскому движению, упрекнул меня в том, что я бросаю горящий факел в страну, и заявил, что если крестьяне в самом деле вздумают выступить, то он вмешается и отговорит их. Я возразил: – «Вы знаете, что я человек спокойный, но если вы это сделаете, то я застрелю вас». – «Вы этого не сделаете», – ответил он. «Даю в том честное слово, – продолжал я, – вы знаете, что я свое слово держу, а потому прекратите это».

Затем я поехал один в Потсдам и там на вокзале увидел господина фон Бодельшвинга, который до 19 марта был министром внутренних дел. Ему явно не хотелось, чтобы его видели беседующим со мной, «реакционером»; он ответил на мое приветствие словами: «Ne me parlez pas» [«Не говорите со мной»]. – «Les paysans se levent chez nous» [«У нас поднимаются крестьяне»], – возразил я. «Pour le Roi?» [«За короля?»] – «Oui» [«Да»]. – «Этот канатный плясун», – сказал он, закрывая руками глаза, на которых показались слезы. В городе, в сквере возле гарнизонной церкви, я увидел расположившуюся бивуаком гвардейскую пехоту. Я поговорил с людьми и выяснил, что они возмущены приказом об отступлении и стремятся снова в бой. На обратном пути следом за мной шли по набережной канала похожие на шпионов штатские, которые старались вступить в разговор с солдатами и вели по моему адресу угрожающие речи. У меня было четыре заряда, но мне не пришлось пустить их в дело. Я остановился у моего друга Роона, которому, как воспитателю принца Фридриха-Карла, было отведено несколько комнат в городском замке, и посетил в «Немецком доме» генерала фон Меллендорфа, еще не оправившегося от побоев, нанесенных ему, когда он вел переговоры с мятежниками, а также генерала фон Притвица, который командовал войсками в Берлине. Я описал им настроение крестьян, а они сообщили мне некоторые подробности событий вплоть до утра 19-го. Все, что

они мне рассказали, а также те известия, которые были получены позднее из Берлина, могли лишь укрепить меня в вере, что король был не свободен.

Притвиц, который был старше меня и рассуждал спокойнее, сказал: «Не присылайте нам крестьян, они нам не нужны – солдат у нас хватит; пришлите лучше картофеля и зерна, пожалуйста, также денег, так как я не знаю, позаботятся ли о достаточном обеспечении солдат продовольствием и жалованьем. Если бы пришли подкрепления, я получил бы из Берлина приказ отослать их обратно и должен был бы его выполнить». – «Так выручите же короля!» – сказал я. Он возразил: «Это было бы не очень трудно. У меня достаточно сил, чтобы взять Берлин, но тогда придется опять сражаться; что мы можем сделать, когда король приказал нам играть роль побежденного? Без приказа я не могу выступить».

При таком положении вещей я пришел к мысли обеспечить иным путем получение приказа, которого не приходилось ожидать от несвободного короля, и попытался попасть к принцу Прусскому. Мне сказали, что для этого необходимо согласие принцессы, и я явился к ней, чтобы узнать местопребывание ее супруга (как я узнал позднее, он находился на Павлиньем острове). Она приняла меня на антресолях, в комнате для прислуги, сидя на сосновом стуле, отказалась дать мне просимые сведения и заявила в большом возбуждении, что ее долг оберегать права своего сына. Сказанное ею основывалось на той предпосылке, что король и ее супруг не смогут удержаться, и давало основание заключить, что она думает о регентстве в период несовершеннолетия сына. Чтобы получить для этой цели содействие правых в палатах, мне были сделаны формальные предложения через Георга фон Финке. Так как я не мог попасть к принцу Прусскому, то попытался воздействовать на принца Фридриха-Карла; я указал ему, как важно, чтобы королевская семья сохранила связь с армией, а если его величество не свободен, то и действовала бы ради дела короля, хотя бы и без его приказания. С живым волнением он ответил мне, что при всем сочувствии моей идее не может взять на себя ее осуществление, чувствуя себя еще слишком молодым для этого и не желая следовать примеру студентов, которые вмешиваются в политику, – он ведь не старше, чем они. Я решился тогда сделать попытку проникнуть к королю.

Принц Карл дал мне в Потсдамском дворце следующее открытое письмо, которое должно было служить мне удостоверением и пропуском:

«Податель сего – хорошо мне известный – имеет поручение *лично* осведомиться у его величества, всемилостивейшего брата моего, о высочайшем его здоровье и доставить мне известие, по какой причине я не получаю в течение 30 часов *никакого* ответа на мои неоднократные собственноручные запросы о том, могу ли я приехать в Берлин.

Потсдам, 21 марта 1848 г. *Карл, принц Прусский*
1 час пополудни».

Я поехал в Берлин. Так как со времени Соединенного ландтага меня многие знали в лицо, я счел благоразумным сбрить бороду и надеть широкополую шляпу с пестрой кокардой. Надеюсь получить аудиенцию, я был во фраке. На вокзале у выхода было поставлено блюдо с призывом жертвовать в пользу баррикадных борцов, а возле него стоял долговязый верзила из гражданской гвардии с мушкетом за плечами. Мой двоюродный брат, с которым я встретился, выходя из вагона, вытащил кошелек. «Не станешь же ты благодетельствовать этим убийцам, – сказал я, добавив в ответ на предостерегающий взгляд, который он на меня бросил: – и не испугаешься же ты коровьей ноги!» В стоявшем на посту человеке я успел уже узнать моего приятеля, советника судебной палаты Мейера, когда он, сердито обернувшись на мое замечание, воскликнул: «Господи, да ведь это Бисмарк! Какой у вас вид! Ну и свинство же здесь!»

Караул гражданской гвардии во дворце осведомился, что мне там нужно. Когда я ответил, что я должен вручить королю письмо от принца Карла, часовой недоверчиво посмотрел

на меня и сказал, что этого не может быть: принц как раз сейчас у короля. Следовательно, он должен был выехать из Потсдама еще до меня. У меня потребовали, чтобы я показал письмо; я показал, так как оно было незапечатано, а содержание его – безвредно; меня пропустили, но не во дворец. В гостинице Мейнгарда в окне нижнего этажа я увидел знакомого мне доктора. Я зашел к нему. Там я написал королю все, что намеревался сказать ему. С этим письмом я отправился к князю Богуславу Радзивиллу, который пользовался свободой сношений и мог передать его королю. Я писал между прочим, что революция ограничивается большими городами и что король будет хозяином в стране, как только он оставит Берлин. Король не ответил, но впоследствии сказал мне, что бережно сохранил написанное плохо и на плохой бумаге письмо, как первый знак сочувствия, полученный им в то время.

Когда я бродил по улицам, осматривая следы борьбы, какой-то незнакомый человек сказал мне вполголоса: «Знаете, за вами следят». На Унтер-ден-Линден другой неизвестный шепнул мне: «Идите за мной». Я последовал за ним на Малую Мауэр-штрассе, где он сказал: «Уезжайте, иначе вас арестуют». – «Вы меня знаете?» – спросил я. «Да, – ответил он, – вы господин фон Бисмарк». Откуда мне угрожала опасность и откуда исходило предостережение – я так никогда и не узнал. Незнакомец поспешно удалился. Один уличный мальчишка крикнул мне вслед: «Смотри-ка, да ведь это француз». Впоследствии мне неоднократно представлялся повод к тому, чтобы вспоминать этот отзыв. Моя длинная эспаньолка, – единственное, что я не сбрил, – мягкая шляпа и фрак произвели на мальчишку впечатление чего-то экзотического. Улицы были пусты, не видно было ни одного экипажа; мимо меня прошло только несколько отрядов в блузах и со знаменами, в том числе один, сопровождавший по Фридрих-штрассе увенчанного лаврами баррикадного героя на какое-то чествование.

В тот же день я вернулся в Потсдам – не из-за предостережений, а потому, что в Берлине мне, как оказалось, нечего было делать, и мы еще раз обсудили с генералами Меллендорфом и Притвицем вопрос о возможности самостоятельного действия. «Как нам за это приняться?» – сказал Притвиц. Я пробренчал на открытом фортепиано, возле которого сидел, пехотный марш к атаке. Меллендорф в слезах, превозмогая боль от ран, бросился мне на шею и воскликнул: «Если бы вы могли нам это устроить». – «Я не могу», – возразил я. «Но чем вы рискуете, сделав это без приказа? Страна будет вам благодарна, и король в конце концов тоже». Притвиц: «Ручаетесь ли вы, что Врангель и Гедеман пойдут с нами? Не можем же мы вдобавок к неповиновению вносить в армию еще и распри». Я обещал выяснить это, поехать в Магдебург лично, а в Штеттин послать доверенного человека, чтобы позондировать почву у обоих командующих там генералов. Ответ от генерала фон Врангеля гласил: «Как поступит Притвиц, так поступлю и я». Мне самому посчастливилось в Магдебурге меньше. Я попал сначала лишь к адъютанту генерала фон Гедемана, молодому майору, которому открылся и который выразил мне свое сочувствие. Вскоре, однако, он пришел ко мне в гостиницу и просил меня немедленно уехать, чтобы не ставить себя в неприятное, а старого генерала в смешное положение; последний намеревался арестовать меня как государственного изменника. Тогдашний обер-президент фон Бонин, олицетворявший высшую политическую власть этой провинции, выпустил обращение следующего содержания: «В Берлине разразилась революция: я буду стоять над партиями». Подобная «опора трона», – Бонин был впоследствии министром и занимал высокие и влиятельные должности. Генерал Гедеман принадлежал к кругу Гумбольдта.

Вернувшись в Шенгаузен, я постарался разъяснить крестьянам, что вооруженный поход на Берлин неосуществим, но тем самым навлек на себя подозрения, что заразился в Берлине революционным головомучением. Поэтому я сделал им предложение, которое было принято, – послать со мной в Потсдам делегатов от Шенгаузена и других деревень, чтобы самим все посмотреть и поговорить с генералом фон Притвицем, а может быть, и с принцем Прусским. Когда мы 25-го приехали на вокзал в Потсдаме, туда как раз прибыл король, весьма сочувственно встреченный большой толпой людей. Я сказал сопровождавшим меня крестья-

нам: «Там король, я вас представлю ему, поговорите с ним». Но они, испугавшись, отказались и быстро ретировались в задние ряды. Я почтительно приветствовал короля; он поблагодарил, не узнавая меня, и поехал во дворец. Я отправился следом за ним и слышал речь, с которой он обратился в Мраморном зале к офицерам гвардейского корпуса. При словах: «Я никогда не был более свободен и в большей безопасности, как под охраной моих граждан», – поднялся такой ропот и такой лязг сабельных ножен, каких в окружении своих офицеров ни один король Пруссии, вероятно, еще никогда не слышал и, надеюсь, никогда уже больше не услышит¹.

С уязвленным чувством вернулся я обратно в Шенгаузен.

Воспоминание о разговоре, который я имел в Потсдаме с генерал-лейтенантом фон Притвицем, побудило меня в мае обратиться к нему со следующим письмом, подписанным вместе со мной и моими шенгаузенскими друзьями:

«Всякий, у кого бьется в груди прусское сердце, без сомнения, с таким же негодованием, как и мы, нижеподписавшиеся, читал те нападки, которым подвергались в печати королевские войска в первые недели после событий 19 марта в награду за то, что они честно исполнили свой долг в бою и, получив приказание отступить, показали непревзойденный пример воинской дисциплины и самоотвержения. Если печать с некоторого времени держится более прилично, то причина этого заключается не столько в том, что партия, распоряжающаяся этой печатью, стала с тех пор более правильно разбираться в положении вещей, как в том, что стремительный ход последующих событий оттесняет на задний план впечатления от предыдущих; иные становятся даже в позу, как будто готовы простить войскам их прежние дела ради вновь совершенных ими². Даже среди сельского населения, встретившего первые сообщения о берлинских событиях с едва обуздываемым озлоблением, начали укореняться искаженные представления, которые распространялись со всех сторон – и почти без противодействия – отчасти прессой, отчасти эмиссарами, обрабатывающими народ по случаю выборов; в результате и благомыслящие люди из сельского населения начинают верить, будто не вовсе лишено оснований, что борьба на улицах Берлина была вызвана войсками умышленно, с ведома и желания столь оклеветанного наследника или независимо от него, с целью вырвать у народа сделанные королем уступки. В подготовку, которая велась другой стороной, в систематическую обработку народа почти никто уже не хочет верить. Мы опасаемся, что по крайней мере в сознании низших слоев народа эта ложь на долгое время станет историей, если не выступить против нее с обстоятельным, подкрепленным доказательствами изложением истинного хода дела, и притом как можно скорей: при совершенно не поддающемся расчету нынешнем стремительном беге времени не сегодня-завтра могут наступить события, которые своей значительностью прикуют к себе внимание публики настолько, что разъяснения, относящиеся к прошлому, не встретят уже никакого отклика.

Если бы удалось хотя бы до некоторой степени открыть глаза населению на мутные источники берлинского движения, равно как и на то, что борьба мартовских героев за достижение *приводимых ими в свое оправдание целей* (защита обещанных его величеством конституционных учреждений) была ненужной, это оказало бы, по нашему мнению, существеннейшее влияние на политические взгляды. Мы считаем, что вы, ваше превосходительство, как начальник достопочтенных войск, действовавших во время этих событий, преимущественно перед всеми другими призваны и можете убедительнейшим образом извлечь на свет правду о них. Убеждение в том, как важно это для нашего отечества и как много выиграет от этого слава нашей армии, послужит нам извинением в том, что мы обращаемся к вашему превосходительству

¹ Передо мной лежат противоречивые и несогласные с моими личными воспоминаниями рассказы об этом событии, напечатанные в «Allgemeine Preussische Zeitung», «Vossische Zeitung», «Schlesische Zeitung». (Wolff, Berliner Revolutions-Chronik, Band I, 424.)

² 23 апреля они заняли Шлезвиг.

с настойчивой и почтительной просьбой: предать как можно скорее гласности, поскольку это допускают соображения служебного характера, точное и подкрепленное документальными доказательствами описание берлинских событий с военной точки зрения».

Генерал фон Притвиц не исполнил этой просьбы. Только 18 марта 1891 г. генерал-лейтенант фон Мейеринк напечатал в приложении к военному журналу «Militär Wochenblatt» статью, которая ставила себе указанную мною цель; к сожалению, она появилась так поздно, что как раз самые важные свидетели событий, а именно флигель-адъютант Эдвин фон Мантейфель и граф Ориола тем временем уже скончались.

В дополнение к истории мартовских событий приведу здесь разговоры, которые я вел через несколько недель после этого с лицами, пожелавшими встретиться со мной, считая меня доверенным лицом консерваторов. Одни хотели оправдать свое поведение до и после событий 18 марта, другие – передать мне свои наблюдения. Полицей-президент фон Минутולי жаловался, что его упрекали, будто он предвидел восстание и ничего не сделал, чтобы предупредить его. Он отрицал, что ему были известны какие-либо тревожные признаки. Я возразил, что слышал в Гентине от очевидцев, будто за несколько дней до 18 марта по направлению к Берлину проехали какие-то люди, похожие на иностранцев и говорившие в большинстве польски, причем одни из них открыто везли с собой оружие, а другие – тяжелые тюки. В ответ Минутולי рассказал, что министр фон Бодельшвинг вызвал его в середине марта к себе и выражал ему свои опасения по поводу происходившего брожения умов; тогда Минутולי свел его на одно собрание перед палатками. После того как Бодельшвинг послушал, какие речи там произносились, он сказал: «Люди говорят вполне разумно, благодарю вас, вы удержали меня от глупости». При суждении о Минутולי подозрительной была его популярность в первые дни после борьбы на улицах. Для полицей-президента популярность, как результат мятежа, была неестественна.

Меня посетил также генерал фон Притвиц, командовавший войсками, [расположенными] около дворца. Он рассказал мне, что с их отступлением дело обстояло так: после того как ему стало известно обращение «К моим дорогим берлинцам», он прекратил сражение, но продолжал занимать для защиты дворца Дворцовую площадь, цейхгауз и прилегающие улицы. Бодельшвинг обратился тогда к нему с требованием: «Дворцовая площадь должна быть очищена!» – «Это невозможно, – ответил Притвиц, – тем самым я выдал бы короля». – «Король в своем обращении повелел, чтобы все «общественные места»³ были очищены, – сказал Бодельшвинг. – Дворцовая площадь – общественное место или нет? Я еще министр и точно знаю, что в качестве министра я должен делать. Я требую, чтобы вы очистили Дворцовую площадь».

«Что же мне оставалось делать, – закончил свой рассказ Притвиц, – как не отойти?» – «А я счел бы самым целесообразным, – ответил я, – скомандовать унтер-офицеру: “Возьмите этого штатского под стражу”». Притвиц возразил: «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее. Вы рассуждаете, как политик; я действовал исключительно, как солдат – по инструкции руководящего министра, опиравшегося на высочайше подписанное обращение». Я слышал из другого источника, будто Притвиц прервал этот свой последний разговор с Бодельшвингом, происходивший на улице, бросив в гнев саблю в ножны и пробормотав то, что Гец фон Берлинхинген кричит в окно имперскому комиссару. Затем он повернул коня налево и молча поехал шагом по Шлосфрейхейт. Когда посланный из дворца офицер спросил его, где находятся войска, он едко ответил: «Они проскользнули у меня между пальцами, – ведь тут все распоряжаются»⁴.

³ В обращении сказано: «все улицы и площади».

⁴ Письмо пастора фон Бодельшвинга от 8 ноября 1891 г. («Kreuzzeitung» от 18 ноября 1891 г. № 539) и воспоминания Леопольда фон Герлаха мне известны.

От офицеров ближайшего окружения его величества я слышал следующее. Они разыскивали короля, но не могли сразу найти его, так как он удалился по естественным надобностям. Когда он появился, они его спросили: «Ваше величество приказали, чтобы войска ушли?» Король ответил: «Нет». – «Они, однако, уже уходят», – сказал адъютант и подвел короля к окну. Дворцовая площадь была черна от заполнивших ее штатских, за которыми еще видны были штыки уходивших солдат. «Этого я не приказывал, этого быть не может!» – воскликнул король в замешательстве и негодовании.

О князе Лихновском мне рассказывали, что он попеременно распространял наверху, во дворце, панические слухи о слабости войск, о недостатке провианта и военных припасов, а внизу, на площади, по-немецки и по-польски уговаривал повстанцев держаться, – наверху, мол, пали духом.

II

На краткой сессии второго Соединенного ландтага 2 апреля я говорил:

«Я принадлежу к числу тех немногих, кто будет голосовать против адреса; и я просил слово только для того, чтобы мотивировать это голосование и объяснить вам, что в той мере, в какой адрес является программой будущего, я его принимаю, но единственно лишь потому, что ничего другого мне не остается. Я делаю это не добровольно, но под давлением обстоятельств; ибо за эти шесть месяцев я не изменил своих взглядов; я полагаю, что это министерство – единственное, которое может вывести нас из теперешнего положения и привести к порядку и законности; поэтому я окажу ему мою скромную поддержку везде, где это окажется для меня возможным. Но что заставляет меня голосовать против адреса – это выражения радости и признательности по поводу того, что совершилось в последние дни. Прошлое погребено, и я скорблю более, нежели многие из вас, о том, что никакие человеческие силы не в состоянии воскресить его, после того как сама корона бросила горсть земли на свой собственный гроб. Но, принимая это под давлением обстоятельств, я не могу закончить свою деятельность в Соединенном ландтаге ложью и выразить благодарность и радость по доводу того, что я должен признать по меньшей мере вступлением на неправильный путь. Если на том новом пути, на который мы теперь вступили, действительно удастся достичь *единого германского отечества* и счастливого или хотя бы только законным образом упорядоченного состояния, в таком случае настанет момент, когда я выражу свою благодарность зачинателю нового порядка вещей, – в настоящее же время это для меня невозможно».

Я хотел сказать больше, но внутреннее волнение не позволило мне продолжать, я судорожно зарыдал и вынужден был уйти с трибуны.

За несколько дней до этого выпад одной магдебургской газеты вынудил меня обратиться в редакцию со следующим письмом, в котором я воспользовался тем достижением, которого так бурно требовали и которое было обеспечено путем отмены цензуры, а именно «правом свободного выражения мнений», не подозревая, что через 42 года это право будут у меня оспаривать.

«Милостивый государь,

вы поместили в сегодняшнем номере вашей газеты статью «Из Альтмарка», которая бросает тень на некоторых лиц, косвенно также и на меня; поэтому я надеюсь, что вы сочтете справедливым принять нижеследующее опровержение. Хотя я и не являюсь тем господином, указанным в статье, который якобы приехал из Потсдама в Стендаль, но и я на предыдущей неделе заявлял в соседних со мной общинах, что не считаю короля свободным в Берлине, и призывал их послать депутацию в соответствующую инстанцию. Но при этом я не склонен допускать, чтобы мне приписывали те эгоистичные мотивы, которые указаны вашим корре-

спондентом. Во-первых, тот, кому было известно все совершившееся с королем после ухода войск, естественно мог составить себе мнение, что король не был властен делать и не делать то, что он хотел; во-вторых, я считаю каждого гражданина свободного государства в праве высказывать своим согражданам свое мнение даже в том случае, когда оно противоречит в данный момент общественному мнению. К тому же после только что пережитых событий было бы трудно оспаривать у кого-нибудь право поддерживать свои политические взгляды при помощи возбуждения народа; в-третьих, если все действия его величества в последние 14 дней были совершены им вполне добровольно, чего ни ваш корреспондент, ни я не можем знать с уверенностью, то ради чего же сражались берлинцы? В таком случае борьба 18 и 19 [марта] была бы по меньшей мере бесцельна и излишня, а все кровопролитие – беспричинно и безрезультатно; в-четвертых, я полагаю, что выражу мнение значительного большинства дворянства, если скажу, что в такое время, когда дело идет о дальнейшем социальном и политическом существовании Пруссии, когда Германии угрожает раскол не в одном лишь направлении, – мы не располагаем ни временем, ни склонностью растрачивать наши силы на реакционные попытки или на защиту несущественных, еще оставшихся у нас поместных прав. Находя этот вопрос подчиненным, мы охотно готовы употребить наши силы на дело более достойное. Восстановление законного порядка в Германии, сохранение чести и целостности нашего отечества мы считаем единственной в настоящее время задачей всех, взгляды коих на наше политическое положение не извращены партийным пристрастием.

Я не имею никаких возражений против оглашения моего имени, если вы поместите вышеизложенное. Примите уверения в совершенном почтении, с коим имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугой.

Бисмарк.

Шенгаузен, близ Ерихова, 30 марта 1848 г.»

Считаю нужным заметить, что я с юности подписывал свою фамилию без «v.» и стал подписываться «v. В[ismarck]» лишь в 1848 г. в виде протеста против предложений об упразднении дворянства.

Следующая статья, набросок которой, сделанный моей рукой, сохранился, была написана, как показывает ее содержание, в период между вторым Соединенным ландтагом и выборами в Национальное собрание. В какой газете она была напечатана, установить не удалось.

«Из Альтмарка.

Часть наших сограждан, пользовавшихся при системе сословного деления большим представительством, а именно жители городов, начинают ощущать, что при новой системе выборов, когда городскому населению почти во всех округах придется конкурировать со значительно превышающим его по численности сельским населением, интересы горожан должны будут отступить перед нуждами огромной массы сельских жителей. Мы живем в эпоху материальных интересов, и когда новая конституция упрочится, когда происходящее сейчас брожение успокоится, борьба партий развернется вокруг того, должны ли государственные налоги взиматься соразмерно достаткам, или они должны быть возложены преимущественно на всегда готовую к обложению землю, которая представляет самый удобный и самый надежный объект обложения и размер которой ни в малой степени не может быть утаен. Горожане, вполне естественно, стремятся держать сборщика податей подальше от фабричной промышленности, от городского домовладения, от рантье и капиталистов, они предпочитают, чтобы он взимал налоги с полей, лугов и их продуктов. Начало положено уже тем, что в городах, где до сих пор существовал налог на помол, низшие категории освобождены от нового прямого налога, тогда как в деревне крестьяне, как и раньше, платят поразрядный налог (Klassensteuer). Мы слышим, далее, что принимаются меры к поддержанию промышленности за счет государственной

казны, но что-то не слышно о том, чтобы собирались прийти на помощь поселянину, который из-за военных перспектив на побережье не может по соответствующей цене сбыть свои продукты, но который вследствие необходимости покрытия ипотечной задолженности вынужден в наше безденежное время продать свой двор. Точно так же, когда говорят о косвенном обложении, мы слышим более о системе покровительственных таможенных тарифов, благоприятствующих отечественной промышленности и ремеслам, нежели о свободе торговли, которая нужна земледельческому населению. Повторяем, вполне естественно, что часть городского населения, учитывая упомянутые спорные вопросы, не пренебрегает никакими средствами, чтобы на предстоящих выборах обеспечить свои интересы и ослабить представительство сельских жителей. Весьма действенным рычагом для достижения этой цели являются попытки опорочить в глазах сельского населения тех из его представителей, которые по своему образованию и развитию с успехом могли бы защищать в Национальном собрании интересы земли; с этой целью стараются искусственно возбудить недовольство против помещиков-дворян (Rittergutsbesitzer); полагают, что если обезвредить этот класс, то сельским жителям придется избирать адвокатов и других горожан, которые не особенно заботятся об интересах деревни, либо же придут простые в своем большинстве деревенские люди, а их рассчитывают незаметно вести за собой в Национальном собрании с помощью красноречия и ловкой политики партийных руководителей. Поэтому существовавшее до сих пор дворянство стараются изобразить такими людьми, которые хотят возвратить и сохранить старый порядок, тогда как дворяне-помещики, как и любой разумный человек, полагают, что было бы бессмысленно и невозможно остановить поток времени или заставить его повернуть вспять. Стараются, далее, пробудить и укрепить на селе представление, что настало сейчас время освободиться безвозмездно от всех выкупных платежей, причитающихся помещикам; при этом, однако, замалчивают то обстоятельство, что правительство, которое хочет права и порядка, не может начать с того, чтобы ограбить один класс граждан в пользу другого, что все права, основанные на законе, судебном решении или договоре, все требования, которые один человек может предъявить другому, все права на ипотечные доходы и капиталы могут быть отняты у тех, кто ими владеет, с таким же правом, с каким у дворянских поместий собираются отнять их ренты без полного возмещения. Крестьянина обманывают, [отрицая], что у него с дворянином-помещиком общие интересы сельского хозяина и общий противник в лице добивающейся исключительного положения промышленной системы, которая протягивает свою руку к власти в Прусском государстве; если этот обман удастся, то будем надеяться, что не надолго и что быстрая отмена в законодательном порядке существовавших до сих пор политических прав дворян-помещиков раскроет сельскому населению глаза на то, как тонко его перехитрили умные горожане, раньше, чем придется платить, ибо тогда будет уже слишком поздно».

В те дни, когда собирался второй Соединенный ландтаг, Георг фон Финке, от имени своих товарищей по партии и, надо полагать, по поручению лиц более высокопоставленных, старался заручиться моим содействием для осуществления плана, согласно которому предполагалось через ландтаг побудить короля к отречению и, обойдя принца Прусского, но якобы с его согласия, установить регентство принцессы при ее несовершеннолетнем сыне. Я тотчас же отклонил это предложение и заявил, что если будет внесено предложение такого содержания, то я отвечу на него предложением возбудить судебное преследование за государственную измену. Финке защищал свое предложение как политически целесообразное, продуманное и подготовленное мероприятие. Принца ввиду его, к сожалению, незаслуженного прозвища Картечный принц он считал неподходящим и утверждал, будто письменное согласие принца имеется. При этом он имел в виду заявление рыцарски настроенного принца о готовности отказаться от наследственных прав, *если* тем самым можно защитить короля от грозящей ему опасности. Я этого заявления никогда не видел, и принц никогда мне об этом не говорил. Под

конец господин фон Финке спокойно и легко оставил попытки привлечь меня на поддержку регентства принцессы, заметив, что без содействия крайних правых, представителем которых он меня считал, не удастся побудить короля к отречению. Беседа происходила у меня в «Hotel des Princes», в нижнем этаже направо, и обеими сторонами было сказано больше, чем можно изложить письменно.

Я никогда не говорил императору Вильгельму ни об этом случае, ни о тех высказываниях, которые мне пришлось слышать от его супруги в мартовские дни в Потсдамском дворце, и не знаю, говорили ли ему об этом другие; я молчал об этих фактах даже в такие времена, как четырехлетний конфликт, война с Австрией и времена «культуркампа», когда в лице королевы Августы я должен был признать противника, подвергнувшего самому тяжелому за всю мою жизнь испытанию мои нервы и мою способность отстаивать то, что я почитал своим долгом.

Зато принцесса написала, вероятно, своему супругу в Англию, что я пытался проникнуть к нему, чтобы добиться его поддержки для контрреволюционного движения за освобождение короля, ибо, когда принц на обратном пути остановился, 7 июня, на несколько минут на Гентинском вокзале и я отошел подальше, так как не знал, захочет ли он в качестве «депутата от Вирзица» со мною видеться, он меня узнал в самых задних рядах публики, прошел через толпу стоявших передо мною, протянул мне руку и сказал: «Я знаю, что вы действовали в мою пользу, и никогда этого не забуду».

Первая моя встреча с ним произошла зимой 1834/35 г. на придворном балу. Я стоял рядом с господином фон Шак из Мекленбурга, который был такого же высокого роста, как я, и также носил мундир референдария юстиции, – это дало принцу повод сказать в шутку, что юстиция подбирает себе ныне людей по гвардейской мерке. Затем, обратясь ко мне, он спросил, почему я не стал военным. «У меня было такое желание, – ответил я, – но родители мои были против этого, так как перспективы слишком неблагоприятны». Принц на это сказал: «Карьера действительно не блестящая, но и служба в юстиции – тоже». Во время первого Соединенного ландтага, в котором принц участвовал как член курии господ, он неоднократно на соединенных заседаниях беседовал со мной в таком тоне, который свидетельствовал о том, что он одобрял занимаемую мною тогда политическую позицию.

Вскоре после встречи в Гентине он пригласил меня в Бабельсберг. Я рассказал ему подробности мартовских событий – частью то, что я сам пережил, частью то, что слышал от офицеров и что касалось в частности настроения, в каком войска отступили из Берлина; это настроение выразилось в горькой песне, которую они распевали в походе. У меня хватило жестокости прочесть ему это стихотворение, показательное в историческом отношении для настроения войск, отступавших согласно приказу из Берлина.

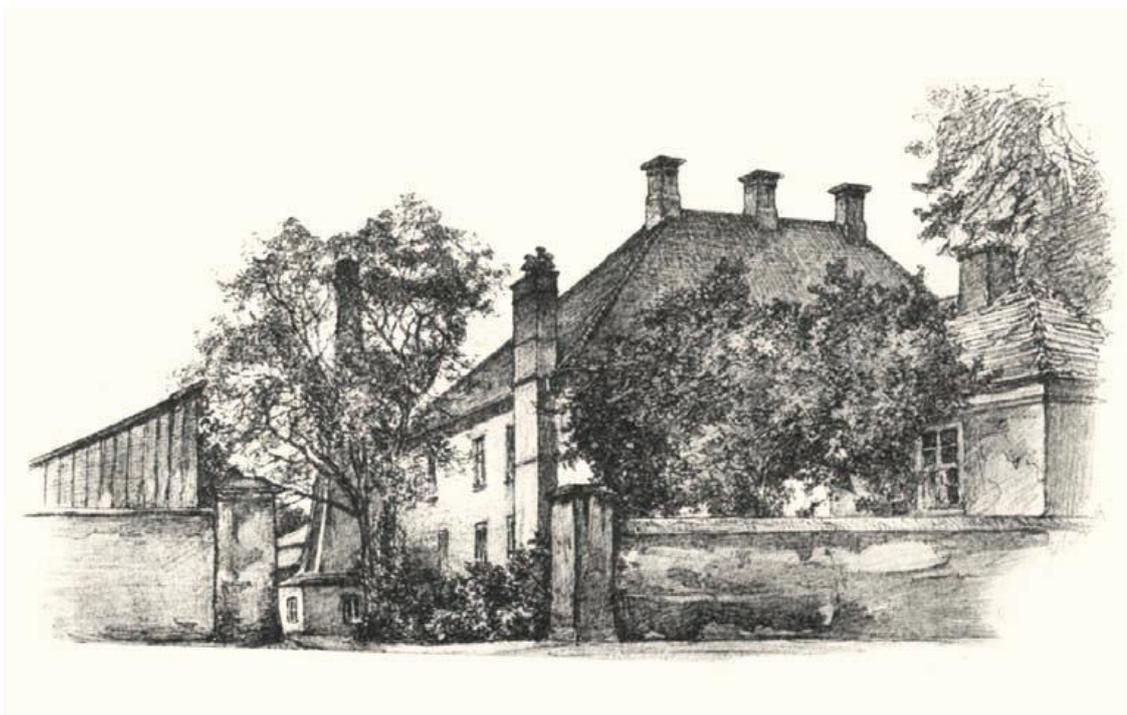
Он так при этом разрыдался, как это было при мне лишь еще раз, когда я в Никольсбурге оказал ему сопротивление по вопросу о продолжении войны.

Принцесса, его супруга, относилась ко мне до назначения моего во Франкфурт настолько милостиво, что приглашала меня иногда в Бабельсберг, чтобы я выслушивал ее политические взгляды и пожелания, изложение которых она обычно заключала словами: «Я рада, что слышала ваше мнение», хотя при этом у меня не было возможности его высказать. Будущий император Фридрих, которому было в то время лет 18–19 – но выглядел он моложе, – выражал мне обыкновенно в этих случаях свои политические симпатии тем, что вечером, когда я, уезжая, садился в экипаж, он в потемках дружески приветствовал меня крепким рукопожатием, как если бы открытое изъявление его взглядов при свете дня не было ему дозволено.

III

В последние два десятилетия царствования Фридриха-Вильгельма III тяга к германскому единству находила свое внешнее выражение лишь в форме студенческих корпоративных

стремлений, вызывавших соответствующие репрессии. Немецкое, или, как он писал, «тевтонское» («*teutsches*») национальное чувство было у Фридриха-Вильгельма IV сердечнее и живее, чем у его отца, но его проявление тормозилось из-за пристрастия короля к средневековым формам и из-за того, что он не любил принимать ясные и твердые решения в своей практической деятельности. Поэтому он упустил благоприятный момент в марте 1848 г., – и это был не единственный упущенный случай. В промежуток между южногерманскими революциями, в том числе и в Вене, и событиями 18 марта, когда было очевидно, что из всех германских государств, включая и Австрию, устояла только одна Пруссия, германские князья готовы были явиться в Берлин и искать там защиты на условиях, которые шли в направлении объединения гораздо дальше того, что осуществлено сейчас. Даже баварское самосознание было поколеблено. Если бы дело дошло до конгресса [германских] князей, который на основе декларации прусского и австрийского правительств от 10 марта должен был собраться 20 марта в Дрездене, то, судя по настроению причастных к этому дворов, можно было ожидать такой же готовности к жертвам на алтарь отечества, какая была проявлена французами 4 августа 1789 г. Это мнение соответствовало фактическому положению дел; в военном отношении Пруссия была достаточно сильна, чтобы остановить революционную волну и предоставить остальным немецким государствам такие гарантии порядка и законности на будущее время, которые казались тогда приемлемыми остальным династиям.



Дом Бисмарков в поместье Шёнгаузен



Отто фон Бисмарк в детстве. Худ. Ф. Крюгер



Отто фон Бисмарк в юности. *Неизвестный художник*

События 18 марта послужили доказательством того, как опасно может быть вмешательство грубой силы даже для тех целей, которые должны быть достигнуты с ее помощью. Между тем к утру 19 марта еще ничего не было потеряно. Восстание было подавлено. Его вожаки, в числе их знакомый мне еще по университету ассессор Рудольф Шрамм, бежали в Дессау; первое известие об отступлении войск они приняли за полицейскую уловку и вернулись в Берлин лишь после того, как получили газеты. Я думаю, что если бы эта победа – единственная в то время победа, одержанная европейским правительством над мятежниками, – была использована умно и с твердостью, достигнутое в таком случае германское единство было бы более полным, чем это в конце концов произошло тогда, когда я участвовал в правительстве. Что было бы лучше и прочнее, – этот вопрос я оставляю открытым.

Если бы король окончательно подавил в марте [берлинское] восстание и не допустил его возобновления, то после крушения Австрии император Николай не препятствовал бы нам при создании новой устойчивой организации Германии. Его симпатии сначала склонялись скорее к Берлину, чем к Вене, хотя Фридрих-Вильгельм IV лично не пользовался – да при различии характеров и не мог пользоваться – этими симпатиями.

Когда король проезжал 21 марта по улицам Берлина под знаменами студенческих корпораций, это меньше всего могло содействовать восстановлению того, что было утрачено с точки зрения и внутренних и внешних отношений. Дело обернулось таким образом, что король оказался уже во главе не своих войск, а во главе баррикадных борцов, тех непокорных масс, перед угрозами которых [германские] князья несколько дней назад искали у него защиты. После столь недостойного шествия пришлось отказаться представить дело, как будто перенесение намеченного съезда князей из Дрездена в Потсдам является единственным последствием мартовских событий.

Мягкость, с которой Фридрих-Вильгельм IV под давлением непрошенных, а быть может, и предательских советчиков, уступая женским слезам, хотел завершить победу, одержанную в кровопролитном столкновении в Берлине, приказав своим войскам отказаться от победы, принесла вред дальнейшему развитию нашей политики прежде всего в том отношении, что была упущена благоприятная возможность. Другой вопрос – долго ли оставался бы успех на стороне короля, если бы он удержал и использовал победу своих войск. Во всяком случае король не был бы тогда в таком угнетенном настроении, в каком я застал его во время второго Соединенного ландтага, наоборот: под влиянием победы у него наблюдался бы усиленный подъем красноречия, как это было, например, в 1840 г., когда принималась присяга на верность, в Кельне в 1842 г. и в других случаях. Я не берусь судить, какое влияние на поведение короля, [на] романтику средневековых имперских воспоминаний об Австрии и князьях и [на] столь сильное до и после этого самосознание князей внутри страны оказало бы сознание [короля], что он окончательно расправился с мятежом, [не] победившим лишь его одного на всей нерусской части континента. То, что было бы завоевано в уличных боях, было бы достижением иного рода и меньшей значимости, чем то, что было завоевано позднее на полях сражений. Может быть, для нашего будущего было и лучше, что нам пришлось блуждать в пустыне внутренней борьбы с 1848 по 1866 г., подобно евреям, прежде чем они достигли страны обетованной. Вряд ли удалось бы нам избежать войн 1866 и 1870 гг., после того как наши соседи, силы которых в 1848 г. были подорваны, с помощью Парижа, Вены и еще кого-нибудь снова воспряли и окрепли бы. Представляется сомнительным, чтобы при развитии по более короткому и быстрому пути мартовской победы 1848 г. влияние исторических событий на немцев было бы таким же, как сейчас; когда создается впечатление, что династии – и как раз те, которые в прошлом были настроены особенно партикуляристски, – относятся к империи более дружелюбно, чем фракции и партии.

Мое первое посещение Сан-Суси произошло при неблагоприятных обстоятельствах. В первых числах июня, за несколько дней до отставки министра-президента Лудольфа Кампгаузена, я находился в Потсдаме; ко мне в гостиницу явился лейб-егерь с уведомлением, что король желает со мной говорить. Под влиянием моих тогдашних фрондистских настроений я сказал, что, к сожалению, не могу исполнить приказания его величества, так как собираюсь ехать домой и жена моя, здоровье которой требует особо бережного отношения, будет волноваться, если я задержусь дольше, чем это было условлено. Немного погодя явился флигель-адъютант Эдвин фон Мантейфель, повторил предложение в форме приглашения к столу и сказал, что король предоставляет в мое распоряжение фельдъегеря, чтобы известить мою жену. Мне ничего не оставалось, как отправиться в Сан-Суси. Общество за обедом было очень небольшое: насколько я помню, кроме дам и свиты были только Кампгаузен и я. После обеда король повел меня на террасу и дружески спросил: «Как ваши дела?» С раздражением, которое я таил в себе с мартовских дней, я ответил: «Плохо». На это король: «Я думаю, что настроение у вас должно быть хорошее». Под впечатлением указов, содержания которых точно не припомню, я ответил: «Настроение было прекрасное, но оно испортилось с тех пор, как королевскими властями, за королевской печатью нам была привита революция. Нет уверенности в поддержке со стороны короля». В этот момент из-за кустов показалась королева и сказала: «Как смеете вы

так говорить с королем?» – «Оставь меня, Элиза, – сказал король, – я уж сам с ним справлюсь. В чем же, собственно, вы меня упрекаете?» – обратился он ко мне. «В том, что вывели войска из Берлина». – «Я этого не хотел», – возразил король. А королева, которая еще находилась на таком расстоянии, что могла слышать нас, добавила: «В этом король совсем не виноват, он трое суток не спал». – «Король должен уметь спать», – заметил я. Не смущаясь этим резким ответом, король сказал: «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее; какая была бы польза, если бы я признал, что действовал, «как осел»? Упреки – плохое средство для того, чтобы восстановить пошатнувшийся престол; мне нужна для этого поддержка и действенная преданность, а не критика». Доброта, с какой было сказано это и прочее, покорила меня. Я явился к нему в настроении фрондера, которому совершенно безразлично, если его весьма немилостиво выпроводят вон, а ушел совершенно обезоруженный и покоренный.

На мое замечание, что он является господином страны и обладает властью, чтобы повсюду восстановить находящийся под угрозой порядок, король сказал, что он должен остерегаться сходить с пути формальной законности. Если бы он захотел порвать с Берлинским собранием, «парламентом поденщиков», как его называли тогда в известных кругах, то для этого нужно, чтобы на его стороне было формальное право, иначе его предприятие будет покоиться на непрочной основе и вся монархия окажется под угрозой не только со стороны внутренних движений, но и извне. Возможно, что он имел при этом в виду войну с французами в обстановке восстаний в Германии. Мне кажется, однако, более вероятным, что в тот момент, когда он хотел заполучить мои услуги, он именно мне не пожелал выразить опасения, что его общегерманские перспективы повредят Пруссии. Я возразил, что при настоящем положении формальное право и его границы весьма неясны и что противники, если бы они имели власть, так же мало церемонились бы с ним, как и 18 марта; я рассматриваю положение скорей с точки зрения войны и вынужденной обороны, нежели с точки зрения юридической аргументации. Король все же настаивал на том, что его положение будет слишком неустойчиво, если он сойдет с почвы законности, и у меня осталось впечатление, что вопрос о возможности восстановления порядка в Пруссии он подчинял на первых порах черно-красно-золотому, как тогда говорили, направлению мысли, которое поддерживал в нем Радовиц.

Из многочисленных бесед с королем, которые последовали за этой первой беседой, мне запомнились следующие его слова: «Я хочу повести борьбу против тенденций Национального собрания, но как бы я ни был убежден в своих правах, при нынешнем положении вещей, у меня нет уверенности, что другие, а также в конечном счете и широкие массы, разделяют это убеждение. Чтобы я мог быть вполне уверен в этом, [Национальное] собрание должно в еще большей мере сойти с почвы права, и притом в таких вопросах, где мое право защищаться силой было бы вполне ясно не только мне, но и всем вообще».

Мне так и не удалось убедить короля в том, что его сомнения относительно [реальности] своей власти неосновательны и что поэтому все сводится к тому – верит ли он в свое право, когда хочет обороняться против недопустимых посягательств собрания. Моя правота была вскоре подтверждена тем, что перед лицом больших и малых восстаний любое военное распоряжение проводилось беспрекословно и ревностно, и притом даже в таких условиях, когда соблюдение воинской дисциплины было с самого начала связано с подавлением уже начавшегося вооруженного сопротивления. Между тем роспуск собрания, коль скоро деятельность его была бы признана опасной для государства, не возбудил бы в рядах войск вопроса об обязательном выполнении военного приказа. Точно так же вступление большого количества войск в Берлин после штурма цейхгауза и подобных событий было бы понято не только солдатами, но и большинством населения (если не говорить о меньшинстве, игравшем руководящую роль) как заслуживающее признательности использование несомненного королевского права; и если бы даже гражданская гвардия захотела оказать сопротивление, то она только увеличила бы в войсках справедливый воинственный гнев. Мне трудно допустить мысль, чтобы летом король

мог сомневаться в том, имеет ли он достаточно материальных сил, чтобы положить конец революции в Берлине. Скорее я могу предположить, что у него были задние мысли: [с одной стороны], – нельзя ли будет при каком-либо стечении обстоятельств использовать, прямо или косвенно, Берлинское собрание и примирение с ним и его правовой основой, – будь то в комбинации с Франкфуртским парламентом или против него, будь то для оказания давления в германском вопросе в других направлениях; [а с другой стороны], – не скомпрометирует ли формальный разрыв с прусским народным представительством перспективы германского объединения. Шествие под немецкими знаменами я, конечно, не приписываю таким наклонностям короля: он был тогда физически и душевно так потрясен, что не мог оказать достаточного сопротивления тем требованиям, которые ему настойчиво предъявлялись.

Бывая в Сан-Суси, я познакомился там с людьми, пользовавшимися доверием короля также и в политических вопросах, и по временам встречался с ними в кабинете. Из них назову в особенности генералов Леопольда фон Герлаха и фон Рауха, позднее Нибура – советника кабинета.

Раух был практичнее; Герлах страдал тем, что склонен был при решении актуальных вопросов увлекаться остроумными обобщениями. Он был благородной натурой, [человеком] широкого размаха, но не таким фанатиком, как его брат, президент Людвиг фон Герлах; в обыденной жизни он был скромнен и беспомощен, как дитя, но политик он был смелый, с широким кругозором, ему мешала только его флегматичность. Я помню, как мне пришлось однажды в присутствии обоих братьев, президента и генерала, следующим образом высказаться по поводу сделанного им упрека в непрактичности: «Если бы мы втроем увидели сейчас в окно, что на улице произошел несчастный случай, то господин президент пустился бы в связи с этим в остроумные рассуждения о недостатке в нас веры и о несовершенстве наших учреждений; генерал сказал бы в точности, что следовало сделать, чтобы помочь беде, но не двинулся бы с места; и только я вышел бы на улицу или позвал бы людей на помощь». Таков был генерал, влиятельнейший политический деятель среди камарильи Фридриха-Вильгельма IV: человек благородного и самоотверженного характера, верный слуга короля, но ни морально, ни, может быть, даже и физически – из-за своей тучности – неспособный быстро осуществлять свои правильные идеи. В те дни, когда король был несправедлив или немилостив к нему, в доме генерала на вечерней молитве можно было, вероятно, слышать старую церковную песнь:

Князьям не доверяйся, друг, —
Изменчивы они:
Провозгласят «Осанна» вдруг,
На завтра же – «Распни!»

Но его преданность королю нисколько не умалялась этим христианским излиянием недовольства. Он душой и телом стоял за короля, даже в тех случаях, когда тот, по его мнению, заблуждался. В конце концов он почти добровольно поплатился за это жизнью. В очень холодный и ветреный день он шел за гробом своего короля с обнаженной головой, держа каску в руке. Это последнее формальное выражение преданности старого слуги праху своего короля подорвало его и без того слабое здоровье: он заболел рожей лица и через несколько дней умер. Его смерть заставляет вспомнить дружинников древнегерманского князя, добровольно умиравших вместе с ним.

Таким же, как Герлах, и, быть может, еще большим влиянием на короля пользовался в 1848 г. Раух. Весьма одаренный человек, воплощение здравого смысла, смелый и честный, без школьного образования, с устремлениями настоящего прусского генерала в лучшем смысле этого слова, он неоднократно выступал на дипломатическом поприще в качестве военного атташе в Петербурге. Однажды Раух явился в Сан-Суси с устным поручением министра-пре-

зидента графа Бранденбурга испросить решение короля по одному важному вопросу. Королю это решение стоило больших усилий, и он никак не мог дать окончательного ответа. Тогда Раух достал из кармана часы и, посмотрев на циферблат, сказал: «Сейчас остается еще двадцать минут до отхода моего поезда. Ваше величество должны будете все же приказать, должен ли я передать графу Бранденбургу «да» или «нет» или я должен буду доложить ему, что ваше величество не хотите сказать ни «да», ни «нет». Эти слова были произнесены в раздраженном тоне, смягченном воинской дисциплиной, и в них выражалось недовольство, понятное у твердого и решительного генерала, утомленного продолжительной и бесплодной дискуссией. Король сказал: «Ну, так и быть, да». После этого Раух поспешно удалился, чтобы поскорее добраться через город к вокзалу. Постояв несколько минут в задумчивости, как бы взвешивая последствия принятого против воли решения, король, обращаясь к Герлаху и ко мне, сказал: «Ох уж этот Раух! Он не умеет правильно говорить по-немецки, но у него больше здравого смысла, чем у всех нас». И после этого, уходя из комнаты и обращаясь к Герлаху, он прибавил: «А умнее вас во всяком случае». Не знаю, прав ли был король в этом случае: Герлах был умнее, Раух практичнее.

IV

Развитие событий не дало возможности использовать Берлинское собрание для германского дела, между тем недопустимые посягательства все росли; поэтому зародилась мысль перевести собрание в другой город, чтобы избавить его депутатов от давления и запугивания, а возможно, и распустить его. Но тут возникло затруднение с созданием министерства, которое взялось бы провести это мероприятие. Уже с момента открытия собрания королю вообще было не легко подыскивать министров, в особенности же таких, которые были бы послушны его довольно изменчивым взглядам и чья бесстрашная непреклонность служила бы гарантией, что в решительный момент они не спасуют. Мне памятливы многие неудачные попытки, предпринимавшиеся в начале года. Георг фон Финке, когда я позондировал у него почву, ответил мне, что он человек «красной земли», предрасположенный к критике и оппозиции, а не к роли министра. Бекерат соглашался взять на себя образование министерства только в том случае, если крайние правые безоговорочно пойдут за ним и обеспечат ему поддержку короля. Люди, пользовавшиеся влиянием в Национальном собрании, не хотели портить себе виды на будущее, когда после восстановления законного порядка они смогли бы войти и остаться в конституционном министерстве, опирающемся на большинство. Гаркорт, который намечался на пост министра торговли, выразил между прочим мнение, что восстановление порядка должно быть осуществлено деловым министерством в составе чиновников и военных прежде, чем верные конституции министры смогут принять у него дела; позднее они согласились бы на это.

Нежелание брать министерские посты усиливалось представлением, что это связано с личной опасностью, так как были уже случаи, когда консервативные депутаты подвергались избиениям на улице. При тех привычках, которые усвоила себе уличная толпа, и при том влиянии, каким пользовались у нее депутаты крайней левой, приходилось ожидать и больших эксцессов, в случае если правительство попытается оказать сопротивление демократическому натиску и взять более твердый курс.

Когда граф Бранденбург, равнодушный к этим опасениям, заявил о своей готовности стать министром-президентом, надо было подыскать ему подходящих и приемлемых коллег. В списке, представленном королю, стояло и мое имя; против него, как рассказывал мне Герлах, была сделана королем помета: «Может быть использован лишь при неограниченном господстве штыка»⁵. Сам граф Бранденбург сказал мне в Потсдаме: «Я взял на себя это дело, но я и газет-

⁵ Слова Герлаха заслуживают, по моему мнению, большего доверия, нежели тот источник, коим пользовался граф Фицтум

то по-настоящему не читал, незнаком с вопросами государственного права и неспособен ни на что другое, как только рисковать головой. Мне нужен «корнак», человек, которому я доверял бы и который говорил бы мне, что я должен делать. Я принимаюсь за это дело, как ребенок, блуждающий впотьмах; но я не знаю никого, кроме Отто Мантейфеля (директор в министерстве внутренних дел), который имеет надлежащую подготовку и которому я лично доверяю, но он все еще колеблется. Если он захочет, я завтра же пойду в собрание, если он откажется, нам придется подождать и поискать другого. Поезжайте в Берлин и уговорите Мантейфеля». Мне это удалось сделать, после того как я уговаривал его с 9 часов до полуночи и обещал уведомить его жену, которая находилась в Потсдаме. Вместе с тем я рассказал ему о мерах, принятых для охраны личной безопасности министров в здании театра и по соседству с ним.

9 ноября рано утром ко мне явился назначенный военным министром генерал фон Строта; его направил ко мне Бранденбург, чтобы я разъяснил ему положение. Я по возможности выполнил это и спросил его: «Вы готовы?» Он ответил мне вопросом на вопрос: «Как уговорились одеться?» – «В штатское», – сказал я. «Штатского костюма у меня нет», – заметил он. Я предоставил в его распоряжение слугу, и ему удалось еще до назначенного часа купить в магазине готового платья костюм. Для охраны министров были приняты некоторые меры предосторожности. Прежде всего в здании театра кроме усиленного наряда полиции было размещено около 30 лучших стрелков гвардейского егерского батальона; по условленному сигналу они должны были появиться в зале и на галереях и защитить своими исключительно меткими выстрелами министров, если бы последним угрожало физическое насилие. Можно было рассчитывать, что при первых выстрелах присутствующие быстро очистят зал. Соответствующие приготовления были сделаны в окнах здания театра, а также в различных зданиях на Жандарменмаркт с целью оградить министров при возвращении из театра от возможных враждебных нападений. Предполагалось, что и более многочисленная толпа, которая могла бы там собраться, рассеется, как только с различных сторон раздадутся выстрелы.

Господин фон Мантейфель обратил внимание еще на то, что вход в театр с узкой в том месте Шарлоттен-штрассе остается неприкрытым. Я предложил разместить солдат в расположенной напротив квартире графа Книпгаузена, ганноверского посланника, находящегося в отпуске. С этой целью я еще ночью отправился в военное министерство к полковнику фон Грисхейму, на которого было возложено осуществление военных мероприятий; он, однако, выразил сомнение по поводу того, можно ли воспользоваться для этой цели зданием дипломатической миссии. Тогда я отправился к ганноверскому поверенному в делах графу Платену, который проживал на Унтер-ден-Линден в доме, принадлежавшем ганноверскому королю. Он был того мнения, что официальным помещением миссии в данный момент должна считаться его квартира на Унтер-ден-Линден, и уполномочил меня написать полковнику фон Грисхейму, что он предоставляет квартиру «своего отсутствующего друга» графа Книпгаузена в распоряжение полиции. Я лег спать поздно, но в 7 часов утра меня уже разбудил посыльный от графа Платена, который просил заехать к нему. Я застал его в большом раздражении, так как оказалось, что отряд около 100 человек занял двор *его* дома, т. е. как раз того дома, на который он указал, как на помещение миссии. По-видимому, Грисхейм, получив мое сообщение, передал приказ какому-нибудь чиновнику, из-за которого и вышло это недоразумение. Я пошел к нему и добился приказа начальнику отряда занять квартиру Книпгаузена. Это и было исполнено, когда уже совсем рассвело, между тем как занятие остальных намеченных зданий было выполнено незаметно, ночью. Возможно, именно эта случайно обнаружившаяся решимость привела к тому, что, когда министры направлялись в здание театра, Жандарменмаркт был совершенно пуст.

фон Экштедт (Berlin und Wien, S. 247), который следующим образом передает помету на полях: «Заядлый реакционер, пахнет кровью, использовать *позднее*».

Когда Врангель (10 ноября) выступил во главе войск, он начал переговоры с гражданской гвардией и уговорил ее добровольно отступить. Я считал это политической ошибкой; если бы дело дошло хотя бы до самой небольшой стычки, то Берлин был бы занят не в результате капитуляции, а силой, и тогда политическое положение правительства было бы иным. Тот факт, что король не сразу распустил Национальное собрание, а лишь отложил его заседания на некоторое время, что он перевел его в Бранденбург и сделал попытку получить там большинство, с которым можно было бы добиться удовлетворительного соглашения, – этот факт доказывает, что в политическом развитии, как оно, по-видимому, представлялось королю, роль Национального собрания и тогда еще не была сыграна до конца. Некоторые признаки, которые приходят мне на память, говорят о том, что такая роль отводилась Национальному собранию на поприще германского вопроса. В частных беседах влиятельных политических деятелей во время перерыва заседаний собрания германский вопрос в большей мере, чем прежде, выдвигался на передний план, в министерских кругах в этом отношении возлагались большие надежды на саксонца фон Карловича, признанное красноречие которого должно было подействовать в немецко-национальном духе. Какой точки зрения придерживался в германском вопросе граф Бранденбург, об этом он мне тогда не говорил. Он лишь выражал готовность выполнить с солдатской беспрекословностью все, что прикажет король. Позднее в Эрфурте он беседовал со мной об этом более откровенно.

Глава третья Эрфурт, Ольмюц, Дрезден

I

В неудачах нашей политики после 1848 г. повинна не столько затаенная германская идея Фридриха-Вильгельма IV, сколько его слабость. Король надеялся, что то, к чему он стремился, исполнится таким образом, что ему не придется поступиться при этом своими легитимистскими традициями. Если бы кроме того, чем Пруссия владела до 1848 г., король не стремился ни к чему более – даже к *mention honorable* [лестному упоминанию] в истории, как можно было предположить на основании речей 1840 и 1842 гг.; если бы у короля не было никаких целей и склонностей, для осуществления которых нужна была известная популярность, – что помешало бы ему в таком случае выступить – после того как министерство Бранденбурга упрочилось – против революционных приобретений в пределах Пруссии подобным же образом, как он выступил против Баденского восстания и сопротивления отдельных прусских провинциальных городов. Ход этих восстаний показал тем, кто этого еще не знал, что на армию можно было положиться: в Бадене свой долг исполнил по мере сил ландвер даже из тех округов, которые считались ненадежными. Несомненно, не исключена была возможность военной реакции, возможность – при октроировании конституции – большего заострения в монархическом духе положенного в основу конституции бельгийского образца. Желание использовать эту возможность отступало, вероятно, в душе короля перед опасением потерять то расположение национально настроенных и либеральных кругов, с помощью которых король надеялся добиться для Пруссии главенства в Германии без войны и путем, не противоречившим его легитимистским идеям.

Эта надежда или ожидание, которые вплоть до «новой эры» робко выражались в фразах о германской миссии Пруссии и о моральных завоеваниях, основывались на двойном заблуждении, которое с марта 1848 г. до весны следующего года играло решающую роль как в Сан-Суси, так и в церкви Св. Павла; речь идет о *недооценке* жизненной силы немецких династий и подвластных им государств и о *переоценке* тех сил, которые можно обозначить словом «баррикада», понимая под этим словом все подготовляющие баррикаду моменты, агитацию и *угрозу* уличных боев. Не в самой баррикаде заключалась опасность переворота, а в страхе перед ней. Более или менее феакийские правительства были разбиты в марте, еще до того как они обнажили шпагу, – частью вследствие *страха* перед врагом, частью в результате тайного сочувствия врагу со стороны их чиновников. Во всяком случае королю Пруссии во главе князей было бы легче, использовав победу войск в Берлине, восстановить германское единство, чем впоследствии [собранию] в церкви Св. Павла. Трудно, конечно, судить, не помешали ли бы своеобразные качества короля, даже при закреплении этой победы, восстановлению такого единства и не сделали ли бы они его снова непрочным после восстановления, как этого в марте опасался Бодельшвинг. Как об этом свидетельствуют заметки Леопольда фон Герлаха и другие источники, у короля в последние годы его жизни снова выступила на передний план его первоначальная антипатия к конституционным порядкам и убеждение в необходимости предоставления королевской власти большей свободы действий, чем это предусмотрено прусской конституцией. Мысль заменить конституцию «королевской хартией» была у короля еще во время его последней болезни.

Находясь в плену все того же двойного заблуждения, Франкфуртский парламент рассматривал *династические* вопросы как нечто уже преодоленное и со свойственной немцам теоре-

тической энергией применял эту точку зрения и к Пруссии и к Австрии. Те депутаты, которые могли дать во Франкфурте достоверные сведения о настроениях в прусских провинциях и немецких областях Австрии, были отчасти заинтересованы в том, чтобы замалчивать истину; добросовестно или нет, но парламент находился в заблуждении насчет того факта, что в случае противоречия между постановлением Франкфуртского парламента и указом прусского короля парламентское решение у семи восьмых населения Пруссии будет иметь ничтожный вес или же не будет иметь никакого веса. Тот, кто жил тогда в наших восточных провинциях, еще и сейчас помнит, что все те элементы, в чьих руках находилась материальная власть, все те, кому предстояло в случае конфликта руководить или командовать вооруженными силами, относились к деятельности Франкфуртского парламента не с той серьезностью, какой можно было бы ожидать, судя по достоинству собравшихся во Франкфурте научных и парламентских величин. Если бы последовал монарший указ, призывающий кулаки масс на помощь государю, то он возымел бы тогда достаточное действие, и не только в Пруссии, но и в крупных второстепенных государствах [Германии]; не везде это произошло бы в такой степени, как это имело место в Пруссии, но все же везде в достаточной степени с точки зрения потребностей материальной полицейской силы, если бы только князья имели мужество назначать министров, которые твердо и недвусмысленно защищали бы их интересы. В Пруссии летом 1848 г. этого не было; однако как только в ноябре король решился назначить министров, готовых защищать права короны, невзирая на парламентские решения, все наваждение исчезло, и оставалась только опасность, как бы реакция не вышла за пределы разумного. В остальных северогерманских государствах дело не дошло даже до таких конфликтов, с какими пришлось бороться в некоторых провинциальных городах министерству Бранденбурга. В Баварии и Вюртемберге вопреки министрам, враждебным королевской власти, последняя в конце концов также оказалась сильнее революции.

Когда 3 апреля 1849 г. король отклонил императорскую корону, но заявил, что решение Франкфуртского парламента дает ему «право притязания», значение которого он умеет ценить, – его побудило к этому главным образом революционное или, во всяком случае, парламентское происхождение этого предложения и отсутствие у Франкфуртского парламента публично-правовых полномочий при недостаточной поддержке династий. Но если бы даже не было всех этих недостатков или король их не заметил бы, при нем едва ли можно было ожидать того развития и укрепления имперских учреждений, которое имело место при императоре Вильгельме. Войн, которые вел последний, нельзя было избежать; только их пришлось бы вести *после* установления империи, как следствие этого установления, а не *до* этого, подготавливая и строя империю. Я не знаю, можно ли было бы побудить Фридриха-Вильгельма IV своевременно вести эти войны; это было трудно даже в отношении его брата, у которого преобладала военная жилка и чувства прусского офицера.

Отмечая, что тогдашняя Пруссия в личном и деловом отношении не созрела для принятия на себя руководства Германией в военное и мирное время, я этим вовсе не хочу сказать, что в то время я видел это с такой ясностью, как теперь, оглядываясь назад, на развитие событий за 40 лет. Мое тогдашнее чувство удовлетворения по поводу отказа короля от императорской короны основывалось не на приведенной выше оценке его личности, а скорее на большей щепетильности в отношении престижа прусской короны и ее носителя, но еще больше – на инстинктивном недоверии к развитию событий после баррикад 1848 г. и их парламентских последствий. В отношении последних у меня и у моих политических друзей создалось впечатление, что руководящие лица в парламенте и печати, частью сознательно, большей частью несознательно, поддерживали и выполняли программу «все должно быть разрушено» и что тогдашние министры – не те люди, которые могли руководить движением или сдерживать его. Моя точка зрения по этому вопросу в основном не отличалась тогда от присущих еще в настоящее время членам парламентских фракций взглядов, основанных на приверженности к друзьям

и недоверии или враждебности к противникам. В жизни фракций еще и теперь господствует убеждение, что противнику во всем, что бы он ни предпринимал, свойственна в лучшем случае ограниченность, а вероятнее всего, злонамеренность и бессовестность; господствует также нежелание расходиться в мнениях и рвать с товарищами по фракции; в то время убеждения, на которых основаны такие опасные для жизни государства явления, были значительно живее и честнее, чем в настоящее время. Противники мало знали тогда друг друга; с тех пор, за 40 лет, они имели возможность ближе узнать друг друга, ибо персональный состав партийных руководителей меняется обычно медленно и незначительно. Тогда обе стороны действительно считали друг друга либо глупыми, либо дурными людьми, действительно имели те чувства и убеждения, которыми они в настоящее время лишь *маскируются* с целью влиять на избирателей и на монарха, потому что эти чувства и убеждения составляют часть программы, во имя которой люди стали служить определенной партии, «попали» в нее, поверив в ее правоту и доверившись ее вождям. Политический карьеризм играет в настоящее время большую роль в жизни и деятельности фракций, чем 40 лет назад; тогда убеждения были искреннее и бесхитростнее, хотя страсти, ненависть и взаимное недоброжелательство фракций и их вождей, готовность жертвовать интересами страны ради фракционных интересов развиты в настоящее время, вероятно, сильнее. En tout cas le diable n'y perd rien [при всех обстоятельствах чёрт ничего не теряет]. Правда, византизм и лицемерная спекуляция на симпатиях короля имели некоторое распространение среди небольшой части высших кругов, но в парламентских фракциях борьба за милость двора еще не была в ходу; вера в могущество королевской власти в большинстве случаев ошибочно расценивалась ниже, чем вера в собственное значение; ничего так не боялись, как прослыть раболепствующими или прислуживающимися. Одни стремились по собственному убеждению укреплять и поддерживать королевскую власть, другие полагали, что благо их самих и страны состоит в борьбе против короля и в его ослаблении; это доказывает, что если не мощь, то по крайней мере вера в мощь королевской власти в Пруссии была тогда слабее, чем в настоящее время. Недооценка могущества короны не изменилась и после того, как оказалось достаточно личной воли такого не очень сильного в волевом отношении монарха, как Фридрих-Вильгельм IV, чтобы отклонением императорской короны обезглавить германское движение; не изменилась она и в результате того, что вспыхивавшие вслед за этим спорадические восстания, имевшие целью добиться осуществления национальных стремлений, были легко подавлены королевской властью.

Благоприятное положение, создавшееся для Пруссии в короткий период между падением князя Меттерниха в Вене и выводом войск из Берлина, снова, хотя и в более слабой степени, оказалось налицо, когда выяснилось, что король и его армия, несмотря на все допущенные ошибки, еще достаточно сильны, чтобы подавить восстание в Дрездене и осуществить Союз трех королей. Тогда, пожалуй, можно было бы быстро использовать положение в национальных интересах, однако при условии ясной практической цели и решительных действий. Ни того, ни другого не было. Драгоценное время растрачивалось на разговоры о подробностях будущей конституции, среди которых одним из важнейших был вопрос о праве германских князей иметь дипломатическое представительство наряду с представительством Германской империи. В то время я отстаивал в тех придворных кругах, в которых вращался, и среди депутатов ту точку зрения, что право дипломатического представительства не имеет того значения, которое ему придается, и зависит от влияния отдельных государей Германского союза в империи или за границей. Если политическое влияние такого государя ничтожно, то его дипломатические миссии за границей не в состоянии будут ослабить впечатление о единстве империи. Если же влияние его на вопросы войны и мира, на политическое и финансовое руководство империей или на решения иностранных дворов останется достаточно сильным, тогда не будет средств воспрепятствовать тому, чтобы его корреспонденция или какие-нибудь более или менее влия-

тельные частные лица – вплоть до интернациональных зубных врачей – не были использованы для политических переговоров.

В то время мне казалось более полезным вместо теоретических разглагольствований о параграфах конституции выдвигать на авансцену имеющуюся налицо жизнеспособную прусскую военную силу, как это было сделано при подавлении восстания в Дрездене и как это могло быть сделано в остальных германских государствах. События в Дрездене показали, что дисциплина и верность саксонских войск оставались непоколебимыми, поскольку прусские подкрепления обеспечивали устойчивость военного положения. Точно так же в боях во Франкфурте гессенские, а в Бадене мекленбургские войска доказали, что на них можно положиться, как только они получили уверенность, что ими планомерно руководят, и убедились в единстве командования и как только им перестали внушать, что они должны допускать, чтобы на них нападали, и не [должны] обороняться. Если бы тогда Берлин своевременно и в достаточных размерах пополнил нашу армию и взял на себя без всякой задней мысли руководство военными операциями, то я не знаю, что могло бы оправдать сомнения в благоприятном исходе дела. Ситуация не была такой безукоризненно ясной с точки зрения права и нравственности, как в начале марта 1848 г., но политически она все еще не была неблагоприятной.



Берлин. 1840-е годы. *Неизвестный художник*



Отто фон Бисмарк, депутат Прусского ландтага. 1836 г. *Иллюстрация к книге В. Штейна «Бисмарк. Жизнь железного канцлера»*

Когда я говорю о задних мыслях, то имею в виду боязнь потерять сочувствие и популярность родственных династий, парламентов, историков и ежедневной печати. За выражение общественного мнения принималось тогда веяние дня, наиболее шумно выступающее в прессе и в парламентах, но не отражающее настроения народа, а между тем от этого настроения зависело, откликнутся ли массы на призывы, идущие сверху по естественным каналам. Духовная потенция верхних десяти тысяч в прессе и на трибуне поддерживается и определяется слишком большим многообразием скрещивающихся стремлений и сил; поэтому правительства могут руководствоваться ею в своем поведении только до тех пор, пока евангелия ораторов и писателей, завоевывая массы, не превращаются также в материальные силы, о которых сказано: «В пространстве ж вещь всегда помеха вещи». Когда же это происходит, наступает *vis major* [действие непреодолимых обстоятельств], с которым политике приходится считаться.

Пока нет налицо этого действия, проявляющегося обычно не скоро, пока в крупных центрах шумят лишь люди *regum novarum cupidum* [жаждущих переворота], а также пресса и парламент с их склонностью к бурному выражению чувств, – до тех пор для реального политика остается в силе соображение Кориолана о народных движениях, хотя тот при этом не принимал во внимание типографскую краску. В то время, однако, руководящие круги Пруссии давали себя оглушать шумом больших и малых парламентов, не считая нужным измерить их значение по тому барометру, которым могло бы служить для них поведение солдатских масс в строю или во время мобилизации. Ошибочной оценке реального соотношения сил, которую я сам имел тогда возможность констатировать при дворе и у самого короля, много способствовали симпатии высшего чиновничества отчасти к либеральной, отчасти к национальной стороне движения, – элемент, который без импульса сверху мог бы, пожалуй, оказать тормозящее влияние, но фактически решающей роли играть не мог.

Перед тем искушением, которое создавала обстановка, королем владело чувство, сходное с тем неприятным ощущением, которое я, хотя и большой любитель плавания, испытал однажды, когда в холодный день собирался войти в воду. Его опасения насчет того, созрела ли обстановка, питались между прочим теми историческими изысканиями, которые он обычно производил с Радовицем не только по поводу права Саксонии и Ганновера на дипломатическое представительство, но и по поводу распределения мест в «рейхстаге» по различным категориям его состава между теми, кто продолжал править, и теми, кто был медиатизирован, между владетельными князьями и персоналистами, между реципированными и нерecipированными графами и в том числе по такому поводу, как привилегии барона фон Гроте-Шауэна.

II

Хотя в то время я стоял дальше от военных дел, чем впоследствии, но думаю, не ошибусь, предположив, что при переброске войсковых частей для подавления восстаний в Бадене и Пфальце было двинуто больше кадров и линейных соединений, чем следовало и чем потребовалось бы, если бы были двинуты мобилизованные войска. Во всяком случае во время ольмюцской встречи военный министр приводил в качестве одной из причин, вынуждавших к миру или по крайней мере к отсрочке войны, невозможность своевременно или даже вообще мобилизовать большую часть армии, *кадры* которой в неполном составе находились в Бадене или в других местах, вне районов своего постоянного расположения и мобилизации. Если бы весной 1851 г. мы имели в виду возможность решить вопрос путем войны и сохранили бы полностью свою мобилизационную способность, применив только *готовые к войне* войска, военные силы, которыми располагал Фридрих-Вильгельм IV, были бы вполне достаточны не только для того, чтобы подавить любое повстанческое движение в Пруссии и вне ее, но эти вооруженные силы обеспечили бы нам одновременно и возможность, не вызывая подозрений, подготовить в 1850 г. разрешение основных проблем того времени, в случае если бы последние обострились до степени вооруженной борьбы. Умному королю недоставало не политического предвидения, а решимости, и если в конкретных случаях его в принципе твердая вера в полноту собственной власти могла устоять против *политических* советников, то отнюдь не против опасений министерства финансов.

Я и тогда был уверен, что военные силы Пруссии достаточны, чтобы подавить все восстания, и что результаты такого подавления были бы тем благоприятнее для монархии и для национального дела, чем большее сопротивление пришлось бы преодолеть правительству; лучше всего было бы, если бы можно было разбить в одной кампании все силы, сопротивления которых следовало ожидать. Во время восстаний в Бадене и Пфальце некоторое время оставалось под сомнением, на чью сторону перейдет часть баварской армии. Я вспоминаю, что сказал баварскому посланнику графу Лерхенфельду, когда он как раз в эти критические дни прощался

со мной перед отъездом в Мюнхен: «Дай бог, чтобы и ваша армия, коль скоро она колеблется, открыто изменила; тогда борьба будет большая, но решающая, и нарыв вскроется. Если же вы заключите мир с ненадежной частью ваших войск, то нарыв будет загнан вовнутрь». Лерхенфельд, встревоженный и удивленный, назвал меня легкомысленным. Я закончил разговор словами: «Будьте уверены, мы обломаем и ваше и наше дело; чем хуже, тем лучше». Он мне не поверил, однако моя уверенность все же его подбодрила; я и теперь думаю, что было бы еще больше шансов разрешить тогдашний кризис так, как того хотели, если бы перед тем баденская революция усилилась вследствие измены также и части баварских и вюртембергских войск, чего тогда опасались. Впрочем, и тогда эти шансы остались бы, пожалуй, неиспользованными.

Я оставляю открытым вопрос, были ли страхи министерства финансов или династические угрызения совести и нерешительность высших сфер единственной причиной половинчатости и трусливости мероприятий, принятых тогда перед лицом серьезной опасности, или же в официальных кругах имели место опасения, подобные тем, которые в мартовские дни помешали Бодельшвингу и другим принять правильное решение, а именно: опасения, что в той мере, в какой король почувствует себя снова могущественным и уверенным, он сможет взять курс также и на абсолютизм. Я вспоминаю, что замечал такие опасения среди высшего чиновничества и в *либеральных* придворных кругах.

Остается открытым вопрос – не было ли использовано в интересах католицизма влияние генерала фон Радовица на короля в действовавшей на него форме, с тем чтобы помешать протестантской Пруссии учесть благоприятную возможность и с тем чтобы скрыть эту возможность от короля. Я и сейчас еще не знаю, был ли фон Радовиц врагом Пруссии, как католик, или же он стремился лишь сохранить свое положение при короле⁶. Несомненно, он служил искусным костюмером для средневековых фантазий короля и способствовал тому, что его величество, увлекаясь вопросами об исторических формах и воспоминаниями из истории империи, упускал возможности практического вмешательства в ход развития современности. *Tempus utile* [полезное время] для создания Союза трех королей было кунктаторски (*dilatorisch*) заполнено второстепенными вопросами, пока Австрия не стала снова достаточно сильной, чтобы вынудить Саксонию и Ганновер к отступлению, так что в Эрфурте оба сооснователя этого Тройственного союза отпали. Во время заседаний Эрфуртского парламента у генерала фон Пфуля среди приглашенных им гостей зашел разговор о доверительных сведениях, полученных некоторыми депутатами, относительно численности формируемой в Богемии австрийской армии, которая должна была служить противовесом и коррективом к парламенту. Называли различные цифры – 80 тысяч и 130 тысяч человек. Радовиц в течение некоторого времени спокойно прислушивался и затем сказал решительным тоном, с присущим его правильному лицу выражением непоколебимой уверенности: «Австрия имеет в Богемии 28 254 человека и 7132 лошади». Тысячи, которые он назвал, обитер [случайно] сохранились у меня в памяти, остальные цифры я привожу наугад, чтобы дать наглядное представление о подавляющей точности сообщенных генералом данных. Естественно, эти цифры в устах официального и компетентного представителя прусского правительства заставили на время умолкнуть всех инакомыслящих. Какими силами располагала весной 1850 г. в Богемии австрийская армия, можно сейчас установить: к ольмюцскому периоду она насчитывала значительно более 100 тысяч человек,

⁶ Генерал фон Герлах в августе 1850 г. писал (*Denkwürdigkeiten*, I, S. 514): «Уважение короля к Радовицу основывается на двух вещах: 1. На его внешне острой, логически математической рассудочности, при которой его бездумная индифферентность делает для него возможным избегать каких бы то ни было противоречий с королем; король же видит в этом образе мышления, абсолютно противоположном собственному его ходу мысли, пробный камень для своих построений и приобретает таким образом уверенность в своем деле. 2. Король считает своих министров и меня в том числе быдлом, уже потому, что мы вынуждены разрешать с ним те текущие практические дела, которые никогда не соответствуют его идеям. Он не считает себя способным ни заставить этих министров быть послушными ему, ни найти других министров, а поэтому он отказывается от этого пути и думает, что нашел в Радовице такого министра, который восстановит из Германии Пруссию, как это прямо признает Радовиц в *Deutschland und Friedrich-Wilhelm IV*».

как я узнал на основании доверительных сообщений, сделанных мне военным министром в ноябре того же года.

Более близкое соприкосновение с графом Бранденбургом в Эрфурте убедило меня, что его прусский патриотизм питался главным образом воспоминаниями о 1812 и 1813 гг. и уже поэтому был пропитан немецким национальным чувством. Решающую роль все же играли его династические и борусские чувства, а также идея усиления мощи Пруссии. Он получил от короля, который тогда уже работал по-своему над моим политическим воспитанием, поручение использовать влияние, которое я мог бы оказать на фракцию крайних правых для поддержки эрфуртской политики, и попытался сделать это наедине; – во время прогулки между городом и Штегервальде он мне сказал: «Какая опасность может грозить Пруссии при таком положении вещей? Мы спокойно принимаем помощь в том размере, в каком нам ее предлагают, – «большем или меньшем» – «сколько дадут», отказываясь на время от того, чего нам не предлагают. Долго ли мы сможем терпеть пункты конституции, с которыми приходится мириться королю, – это покажет лишь опыт. Не выйдет это – «мы вытащим шпагу и выгоним всю компанию к чёрту». Не могу отрицать, что это воинственное заключение его рассуждений произвело на меня весьма выгодное впечатление, но я остался при своем сомнении – не будет ли зависеть высочайшее решение в критический момент в большей мере от иных влияний, чем от этого рыцарски настроенного генерала. Его трагический конец подтвердил мои сомнения.

Король побуждал также и господина фон Мантейфеля к попыткам привлечь прусских крайних правых на сторону правительственной политики и подготовить в этом смысле соглашение между нами и партией Гагерна. Он сделал так, что пригласил только меня и Гагерна к обеду и, не сказав даже нескольких вступительных слов, оставил нас вдвоем, когда мы еще сидели за бутылкой вина. Гагерн повторил мне лишь менее точно и вразумительно то, что было нам уже известно как программа его партии и, в несколько сокращенном виде, – как правительственное предложение. Он говорил, не глядя на меня, уставясь в небо. В ответ на мое замечание, что мы, прусские роялисты, прежде всего опасаемся, что при этой конституции монархическая власть будет недостаточно сильной, он, окончив свою длинную и напыщенную речь, погрузился в пренебрежительное молчание, что создавало впечатление, которое можно передать словами: *Roma locuta est* [Рим высказался]. Когда Мантейфель вернулся, мы еще несколько минут сидели молча: я – потому, что ожидал возражений Гагерна; он – потому, что, помня свое положение во Франкфурте, считал ниже своего достоинства вести переговоры с прусским юнкером иначе, как в безапелляционном духе. Он был более склонен к роли парламентского оратора и президента, нежели серьезного политического деятеля, и воображал себя *Jupiter tonans* [Юпитером-громовержцем]. После того как Гагерн удалился, Мантейфель спросил меня, что он говорил. «Он произнес передо мной речь, как будто я – народное собрание», – ответил я.

Примечательно, что в обеих семьях – Гагернов и Ауэрсвальдов, представлявших тогда в Германии и Пруссии национальный либерализм, было тогда по три брата и среди них по одному генералу; оба эти генерала были более практичными политиками, чем их братья, и оба были убиты в результате революционных движений, развитию которых оба они из добрых патриотических побуждений содействовали в сфере своей деятельности. Генерал фон Ауэрсвальд, убитый 18 сентября 1848 г. под Франкфуртом, как говорили, потому, что его приняли за Радовица, похвалялся во время первого Соединенного ландтага тем, что, будучи полковником кавалерийского полка, сделал верхом сотни миль, чтобы оказать во время выборов содействие оппозиции среди крестьян.

В ноябре 1850 г. я был одновременно вызван как офицер ландвера в полк и как депутат – на предстоящую сессию палаты. Проезжая через Берлин в штаб полка, я явился к военному министру фон Штокгаузену, с которым был лично в хороших отношениях и который был мне признателен за кое-какие личные услуги. После того как я преодолел противодействие ста-

рика-швейцара и был допущен к министру, я дал выход своему воинственному настроению, будучи несколько возбужден и призывом в полк и тоном австрийцев. Министр, старый, энергичный солдат, в моральной и физической отваге которого я был уверен, сказал мне в основном следующее:

«В настоящий момент мы должны по возможности избегать разрыва. У нас нет достаточных сил, чтобы сдерживать натиск австрийцев, если они внезапно на нас нападут, даже без помощи саксонцев. Нам придется отдать им Берлин и объявить мобилизацию в двух центрах вне столицы, скажем, в Данциге и в Вестфалии; к Берлину мы могли бы стянуть лишь через две недели около 70 тысяч человек, но и этого было бы недостаточно против тех боевых сил, которые Австрия уже сейчас имеет наготове против нас». Если мы хотим ударить, – продолжал он, – то нам прежде всего необходимо выиграть время, а поэтому надобно желать, чтобы прения и речи, предстоящие в палате депутатов, не ускорили разрыва, как это можно предвидеть по тону, господствующему в прессе. Поэтому он просил меня остаться в Берлине и негласно воздействовать в духе умеренности на близких мне депутатов, которые уже были здесь или вскоре должны были приехать. Он жаловался на разбросанность линейных частей, которые выступили и были брошены в бой в составе мирного времени и находились теперь вдали от районов своего комплектования и цейхгаузов частью в глубине страны, большею же частью в юго-западной Германии, т. е. в местах, где трудно быстро провести мобилизацию.

Баденские войска повели тогда в Пруссию по трудно проходимым дорогам через брауншвейгский Везерский район – доказательство того, как боялись нарушить границы владений союзных князей, в то время как остальные атрибуты их суверенитета с легкостью игнорировались или совсем упразднялись в проектах конституций империи и Союза трех королей. В проектах доходили почти до медиатизации, но не осмеливались претендовать на то, чтобы расквартировать войска, вне предусмотренных договорами пределов этапных дорог. Эта трусливая традиция была нарушена лишь в Швартау, когда разразилась война с Данией 1864 г. и опущенный ольденбургский шлагбаум был поднят прусскими войсками.

Я не мог подвергнуть критике соображения такого компетентного и проникнутого чувством чести генерала, как Штокгаузен, я и теперь на это не отважусь. Вина за нашу скованность в военном отношении, которую он мне обрисовал, лежала не на нем, – она крылась в той бесплановости, в той смеси легкомыслия и скряжничества, с какой в мартовские дни и после них велась наша политика, как военная, так и дипломатическая. В военной же области она была такого рода, что проводимые мероприятия давали основание предположить, что в высших сферах, в Берлине, вообще не принимали в расчет разрешение назревших вопросов путем войны или хотя бы путем военной подготовки. Слишком много занимались общественным мнением, речами, газетами и возней с конституцией, чтобы наметить твердые планы и достичь практических целей в области внешней или хотя бы даже только внепрусской, германской политики. Штокгаузен не был в состоянии исправить упущения и уничтожить бесплановость нашей политики путем быстрых успехов в военном отношении и оказался поэтому в положении, которое считал недопустимым даже сам политический руководитель министерства – граф Бранденбург. Последний изнемог под бременем разочарований, которые пришлось пережить его высокому патриотическому чувству чести в последние дни его жизни. Было бы несправедливо обвинять Штокгаузена в малодушии, и я имею основания полагать, что и король Вильгельм I ко времени, когда я стал его министром, разделял мой взгляд на военное положение в ноябре 1850 г. Как бы то ни было, я не имел тогда никаких оснований для критики, которую я мог бы осуществить в военной области как консервативный депутат по адресу министра и как лейтенант ландвера – по адресу генерала.

Штокгаузен взялся уведомить мой полк, расположенный в Лаузице, о том, что он приказал лейтенанту фон Бисмарку остаться в Берлине. Я отправился прежде всего к моему коллеге по ландтагу, советнику юстиции Гепперту, который возглавлял тогда если не мою фрак-

цию, то все же многочисленную группу, которую можно было бы назвать правым центром и которая была склонна поддерживать правительство; она считала лишь необходимым энергично отстаивать национальные задачи Пруссии не только принципиально, но также путем немедленного вмешательства военной силы. Я натолкнулся прежде всего на парламентские взгляды Гепперта, которые не совпадали с программой военного министра; поэтому мне пришлось постараться разубедить его во мнении, которое до разговора с Штокгаузенем я сам в основном разделял и которое можно определить, как естественное следствие уязвленного национального или военно-прусского чувства чести. Я вспоминаю, что наши разговоры были продолжительны и часты. Влияние их на фракцию правых видно из дебатов по поводу адреса. Я сам высказал 3 декабря мои тогдашние убеждения в речи, из которой привожу следующие выдержки:

«Прусский народ, как всем нам известно, единодушно поднялся по призыву своего короля, поднялся, полный доверия и послушания, поднялся, чтобы по примеру отцов сражаться в боях прусских королей, поднялся, прежде чем он узнал, – заметьте это себе, господа, – прежде чем он узнал, что именно должно быть завоевано в этих боях; этого, вероятно, не знал никто из вступивших в ряды ландвера.

Я надеялся, что вновь встречу это чувство единодушия и доверия в кругах народного представительства, в тех узких кругах, где сосредоточены все нити управления. Краткое пребывание в Берлине, беглый взгляд на то, что здесь делается, показали мне, что я заблуждался. В проекте адреса наше время названо великим; я не нашел здесь ничего великого, кроме личного честолюбия, ничего великого, кроме недоверия, ничего великого, кроме партийной ненависти. Вот три проявления великого, которые в моем понимании клеймят наше время, как ничтожное, и омрачают виды на будущее в глазах верных сынов отечества. Отсутствие единства среди указанных мной кругов едва прикрыто в проекте адреса пышными словами, под которыми каждый понимает свое. Я не нашел ни в адресе, ни в поправках к нему никакого следа того доверия, которым воодушевлена страна, того полного доверия, которое основано на преданности его величеству королю, которое основано на опыте преуспевания страны под управлением представляющего ее в течение двух лет министерства. Я считал бы это тем более нужным, что мне казалось необходимым усилить впечатление, которое произвел на Европу единодушный подъем страны, путем единения тех, кто не входит в состав вооруженных сил, в момент, когда наши соседи стоят против нас с оружием в руках, в момент, когда мы с оружием в руках спешим к нашим границам, в момент, когда дух доверия царит даже среди тех, кому, казалось, он не был обычно присущ, в момент, когда каждый вопрос адреса, касающийся внешней политики, таит в себе войну или мир – и какую войну, господа? Это не поход нескольких полков в Шлезвиг или Баден, это не военная прогулка по беспокойным провинциям; нет, – это война большого масштаба против двух из трех великих континентальных держав, в то время как третья, жаждущая добычи, вооружается на наших границах, прекрасно зная, что в Кельнском соборе находится сокровище, обладание которым может завершить французскую революцию и укрепить положение тамошних властителей, а именно французская императорская корона...

Государственному деятелю в кабинете или палате нетрудно трубить в боевой рог в унисон с популярными веяниями, сидя при этом у камина, и произносить с этой трибуны громовые речи, предоставляя решение вопроса о том, завоеует ли его система победу и славу, мушкетеру, истекающему кровью на снегу. Нет ничего легче этого, но горе тому государственному деятелю, который в это время не позаботится найти такое основание для войны, которое и *после* войны еще сохранит свое значение...

Прусская честь, по моему убеждению, состоит не в том, чтобы Пруссия всюду в Германии разыгрывала роль Дон Кихота по отношению к обиженным парламентским знаменитостям, считающим, что их местная конституция находится в опасности. Прусскую честь я вижу в том, чтобы Пруссия держалась прежде всего подальше от какой бы то ни было позорной связи с демократией, чтобы в этом, как и во всех других вопросах, Пруссия не допускала бы никаких

изменений в Германии помимо своего согласия и чтобы то, что Пруссия и Австрия сочтут после совместного свободного рассмотрения разумным и политически правильным, осуществлялось совместно обеими равноправными державами – защитницами Германии...

Главный вопрос, который таит в себе войну или мир, – устройство Германии и урегулирование отношений между Пруссией и Австрией и отношений Пруссии и Австрии к мелким государствам, должен через несколько дней сделаться предметом обсуждения на свободных совещаниях и, стало быть, не может *сейчас* послужить причиной войны. Тот, кто хочет войны во что бы то ни стало, того я заверяю, что ее *в любое время можно обрести* на этих свободных совещаниях: это вопрос четырех или шести недель, если хотят воевать. Я далек от того, чтобы в столь важный момент, как сейчас, тормозить своими советами деятельность правительства. Если бы я и хотел выразить министерству свое пожелание, то оно заключалось бы в том, чтобы мы *разоружились не ранее* того, как свободные совещания дадут положительный результат; *тогда у нас еще будет время вести войну*, если мы, соблюдая свое достоинство, действительно не сможем или не захотим ее избежать.

Каким образом можно искать германское единство в унии – этого я понять не могу; это – странное единство, когда с самого начала требуется, чтобы в интересах этой своеобразной унии пока что перестреляли и перекололи на юге наших германских соотечественников; когда германскую честь усматривают в том, чтобы центр тяжести всех германских вопросов был непременно перенесен в Варшаву и Париж. Представьте себе, что лицом к лицу с оружием в руках стоят две группы германских государств. По своей военной мощи они отличаются друг от друга лишь настолько, что участие на стороне одной из них даже менее сильной державы, нежели Россия или Франция, может дать ей решающий перевес; я не понимаю, по какому праву тот, кто сам хочет создать подобное соотношение сил, может жаловаться на то, что при этих обстоятельствах центр тяжести решения переносится за границу».

Моей руководящей идеей при произнесении речи было [стремление] добиться, в соответствии с точкой зрения военного министра, отсрочки войны до тех пор, пока мы не вооружимся. Я не мог, однако, со всей ясностью открыто выразить это, я мог только намекнуть. Не было бы чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности умела откладывать, предупреждать или вызывать войну.

В то время, в ноябре 1850 г., в России относились к революционному движению, происходившему в Германии, уже значительно спокойнее, чем в марте 1848 г., когда оно началось. Я был в приятельских отношениях с русским военным атташе графом Бенкендорфом и в 1850 г. вынес из доверительной беседы с ним впечатление, что движение в Германии, включая польское, тревожило петербургский кабинет уже не в той степени, как при его возникновении, и не воспринималось уже, как представляющее опасность в случае войны. В марте 1848 г. революция в Германии и в Польше казалась русским еще чем-то непредвиденным и опасным. Первым из русских дипломатов, который в своих донесениях в Петербург защищал другую точку зрения, был тогдашний поверенный в делах во Франкфурте-на-Майне, впоследствии посланник в Берлине, барон фон Будберг. Его донесения о переговорах и о значении церкви Св. Павла с самого начала носили сатирический оттенок, и то пренебрежение, с которым этот молодой дипломат отзывался в своих донесениях о речах немецких профессоров и о могуществе Национального собрания, доставили такое удовлетворение императору Николаю, что карьера Будберга была сделана и он очень скоро был назначен посланником и послом. В этих донесениях он дал оценку политических событий с антигерманской точки зрения, аналогичную той, которая преобладала в старопруссских кругах Берлина, где он прежде вращался, – только там проявляли больше патриотического духа и *озабоченности*. Можно сказать, что та точка зрения, первым проводником которой он был и благодаря которой сделал карьеру в Петербурге, зародилась в берлинском «Казино». С тех пор Россия не только существенно укрепила свои военные позиции на Висле, но и составила себе также более скромное мнение о тогдашних военных

возможностях революции, равно как и германских правительств; тон речей, раздававшихся в ноябре 1850 г. у русского посланника барона Мейендорфа, с которым я был в приятельских отношениях, и его соотечественников, носил вполне успокоительный, с русской точки зрения, характер и был проникнут лично доброжелательным, но для меня оскорбительным участием к будущему дружественной Пруссии. У меня создалось такое впечатление, что Австрию считают более сильной и надежной державой, а Россию – достаточно сильной, чтобы взять в свои руки решение спора между обеими сторонами.

III

Хотя я не был в то время так хорошо знаком, как впоследствии, со всеми средствами и обычаями дипломатической службы, все же при всей моей неопытности я был уверен, что войну, если бы она казалась нам вообще желательной и приемлемой, можно было бы вызвать в любой момент и после Ольмюца, во время дрезденских переговоров, путем прекращения последних. Штокгаузен как-то сказал мне, что ему нужно шесть недель, чтобы иметь возможность сражаться, и, по моему мнению, нетрудно было бы удвоить этот срок путем искусного ведения переговоров в Дрездене, коль скоро неподготовленность к войне в тот момент была единственным основанием к тому, чтобы отказаться от решения вопроса путем войны. Если дрезденские переговоры не были использованы для того, чтобы добиться лучшего – с прусской точки зрения – результата или кажущегося справедливым повода к войне, то я никогда не мог уяснить себе, исходило ли это бросающееся в глаза ограничение наших целей в Дрездене от короля или от господина фон Мантейфеля, нового министра иностранных дел.

У меня в ту пору сложилось только впечатление, что этот министр, будучи ранее ландратом, регирунгспрезидентом и директором министерства внутренних дел, чувствовал себя стесненным и неуверенным в своих выступлениях вследствие заносчивой и важной манеры обращения князя Шварценберга. Уже домашняя обстановка жизни их обоих в Дрездене – князь Шварценберг в первом этаже, с ливрейными лакеями, серебряной посудой и шампанским, прусский министр этажом выше, с канцелярскими служителями и стаканами с водой, – была такова, что действовала в невыгодном для нас смысле на самочувствие представителей обеих великих держав и на оценку их остальными германскими представителями. Старинная прусская простота, рекомендованная Фридрихом Великим своему представителю в Лондоне, в изречении: «Если тебе приходится ходить пешком, говори, что за тобой идут 100 тысяч человек», – свидетельствует о бахвальстве; остроумный король мог сказать это лишь в припадке чрезмерной скупости. Сейчас всякий имеет 100 тысяч человек, только у нас, кажется, в дрезденские времена их не было. Главная ошибка тогдашней прусской политики заключалась в том, что считали возможным добиться путем публицистических, парламентских и дипломатических ухищрений тех успехов, которые могли быть достигнуты лишь борьбой или готовностью к ней; успехи эти казались как бы навязанными нашей добродетельной скромности в качестве воздаяния за ораторскую деятельность, в которой проявлялся наш «немецкий дух». Это называли впоследствии «моральной» победой. Это была надежда, что другие сделают за нас то, на что мы сами не решались.

Глава четвертая Дипломат

Когда прусское правительство решилось послать своего представителя в Союзный сейм, возобновивший в результате австрийских усилий свою деятельность, и пошло на то, чтобы восполнить таким образом его состав, посланником при сейме был временно назначен генерал Рохов, продолжавший оставаться в то же время аккредитованным в Петербурге. Одновременно в штат миссии были зачислены два советника: я и господин фон Грунер. Перед моим назначением советником миссии его величество и министр фон Мантейфель дали мне понять, что в ближайшем времени предполагается назначить меня посланником при сейме. Рохов должен был ввести меня в дела и подучить, но он и сам неспособен был работать по-деловому, меня же использовал как редактора и не держал *au fait* [в курсе] политических дел.

Предшествовавшая моему назначению беседа с королем, вкратце переданная в письме покойного моего друга Д. Л. Мотли к его жене, происходила следующим образом. После того как на внезапный вопрос министра Мантейфеля, согласен ли я принять пост посланника при сейме, я коротко ответил «да», король вызвал меня к себе и сказал: «Вы очень смелы, сразу же соглашаясь принять совершенно не знакомую вам должность». – «Ваше величество, – ответил я, – смелость проявляете вы, вверяя мне такой пост; впрочем, ничто не обязывает ваше величество оставить в силе назначение, если я не оправдаю вашего доверия. Сам я не могу с уверенностью сказать, по силам ли мне эта задача, пока не ознакомлюсь с ней ближе. Если я найду, что не дорос до нее, то сам же первый буду ходатайствовать о моем отозвании. Я имею смелость повиноваться, коль скоро ваше величество имеет смелость повелевать». – «В таком случае попытаемся», – заключил король.

11 мая 1851 г. я прибыл во Франкфурт. Господин фон Рохов, человек не столько честолюбивый, сколько склонный к покою и уюту, утомленный климатом и шумной придворной жизнью в Петербурге, предпочел бы надолго остаться во Франкфурте. Это вполне удовлетворяло всем его желаниям, и он хлопотал в Берлине о назначении меня посланником в Дармштадт, с тем чтобы я одновременно был аккредитован при герцоге Нассауском и городе Франкфурте; он был даже, пожалуй, не прочь уступить мне взамен свой петербургский пост. Ему нравилось жить на Рейне и общаться с немецкими дворами. Но его старания не увенчались успехом. 11 июня господин фон Мантейфель известил меня о том, что король утвердил мое назначение посланником при Союзном сейме. «Само собой разумеется, – писал министр, – что господина фон Рохова нельзя уволить *brusquement* [внезапно]; поэтому я предполагаю сегодня же написать ему об этом несколько слов и уверен, что вы согласитесь со мною, если я поступлю в этом случае, сообразуясь с желаниями господина фон Рохова; я в сущности весьма благодарен ему за то, что он взял на себя тяжелую и неблагодарную миссию, не в пример некоторым другим, которые всегда готовы критиковать, а как только доходит до дела, – бьют отбой. Незачем доказывать, что я имею в виду не вас, так как и вы защищаете брешь и не отступите, полагаю, даже в том случае, если останетесь один».

15 июля последовало мое назначение посланником при Союзном сейме. Хотя с Роховым обошлись очень предупредительно, он был тем не менее расстроен и выместил на мне досаду за несбывшиеся желания: однажды утром он выехал из Франкфурта, не предупредив меня и не сдав мне ни дел, ни документов. Узнав стороной об его отъезде, я успел как раз вовремя явиться на вокзал, чтобы выразить ему благодарность за проявленное им доброжелательное отношение ко мне. О моей деятельности и о моих наблюдениях в Союзном сейме опубликовано так много официального и частного материала, что мне остается дать лишь кое-какие дополнения.

Я застал во Франкфурте двух прусских комиссаров, оставшихся со времен интерима: обер-президента фон Беттихера, сын которого в качестве статс-секретаря и министра стал впоследствии моим помощником, и генерала фон Пейкера, доставившего мне повод впервые задуматься над тем, что представляют собою ордена. Это был дельный и храбрый офицер с серьезным научным образованием, которое он имел случай применить впоследствии на посту генерал-инспектора военно-учебных заведений. В 1812 г., когда он служил в корпусе Йорка, у него украли плащ; обратный поход ему пришлось совершить в одном мундире; он отморозил себе пальцы на ногах и претерпел еще всякие другие беды в связи с холодами. Этот умный и храбрый офицер добился, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, руки красавицы графини Шуленбург; от нее впоследствии перешло к его сыну богатое наследство семьи Шенк фон Флехтинген в Альтмарке. В удивительном контрасте с его общим духовным обликом находилась свойственная ему слабость – излишнее пристрастие к внешним знакам отличия, обогатившее берлинский жаргон особым словечком: о человеке, чрезмерно увешанном орденами, принято было говорить: «er peuckert» [«он пейкирует»].

Придя к нему однажды утром, я застал его перед столом, на котором были разложены честно заслуженные им, первоначально на поле битвы, ордена, стройный порядок коих на груди был нарушен только что полученной новой звездой. Поздоровавшись со мной, он заговорил не об Австрии или Пруссии, а о том, куда, с точки зрения художественного вкуса, приладить эту новую звезду. Чувство глубокого уважения, с каким я с детства привык относиться к заслуженному генералу, заставило меня совершенно серьезно заняться этим вопросом, и, только исчерпав его, мы перешли к деловому разговору.

Признаюсь, что, получив (в 1842 г.) свой первый знак отличия, медаль за спасение, я был весьма обрадован и даже польщен, ибо в то время я, простой провинциальный юнкер, не был еще избалован в этом отношении. На государственной службе я быстро утратил эту свежесть восприятия; не припомню, чтобы в дальнейшем получение наград доставляло мне объективное удовольствие; я испытывал только субъективное чувство удовлетворения этими внешними знаками благоволения, коими король отмечал мою преданность, а прочие монархи – успешность моих попыток заслужить их доверие и благосклонность. Наш посланник в Дрездене, фон Йордан ответил как-то на сделанное в шутку предложение – уступить один из его многочисленных орденов: «Je vous les cede toutes, pourvu que vous m'en laissiez une pour couvrir mes nudites diplomatiques» [«Уступаю вам их все – оставьте мне только один для прикрытия моей дипломатической наготы»]. Grand cordon [орденская лента] составляет в сущности неотъемлемую принадлежность туалета посланника, а возможность переменить ленту, если только она пожалована не собственным двором, а иностранным, является для элегантного дипломата столь же желанной, как для дамы – перемена наряда. В Париже мне приходилось быть свидетелем того, как один вид *monsieur decore* [господина с орденом] сдерживал бессмысленные насилия над толпой. Я нигде не испытывал потребности носить ордена, кроме как в Петербурге и в Париже; в этих столицах просто необходимо показываться на улице не иначе, как с ленточкой в петлице, если хочешь, чтобы полиция и публика обращались с тобой вежливо. В прочих случаях я надевал обыкновенно лишь те ордена, которые требовались обстоятельствами; мне всегда представлялось своего рода китайщиной, когда приходилось наблюдать, какие болезненные формы принимала у моих коллег и сотрудников на бюрократическом поприще страсть к коллекционированию орденов; как тайные советники, которые и так уже были не в состоянии совладать с бившим из их груди каскадом орденов, добивались заключения какого-нибудь ничтожного договора лишь потому, что им хотелось пополнить свою коллекцию орденом того государства, с которым велись переговоры.

Члены палат, которым надлежало в 1849–1850 гг. пересмотреть октроированную конституцию, развивали весьма напряженную деятельность: с 8 до 10 часов происходили заседания комиссий, с 10 до 4 часов – пленарные заседания, которые иногда возобновлялись еще

и в поздние вечерние часы и сменялись длительными фракционными совещаниями. Поэтому я мог удовлетворять свою потребность в движении только ночью, и мне вспоминается, как неоднократно поздней порой я бродил туда и обратно по Унтер-ден-Линден, между зданием оперы и Бранденбургскими воротами. Случайно я обратил тогда внимание на то, как полезны для здоровья танцы – развлечение, которое я оставил с 27 лет, считая, что оно к лицу только «юности». Как-то на придворном балу одна моя хорошая знакомая попросила меня разыскать для котильона ее исчезнувшего кавалера, а так как я его не нашел, она предложила мне заменить его. После нескольких туров на гладком паркете Белого зала у меня пропало появившееся было опасение, что закружится голова, я продолжал танцевать с удовольствием и спал после этого таким здоровым сном, какого давно не знал. Во Франкфурте танцевали все, начиная с 65-летнего французского посланника *monsieur Marquis de Tallenay* [господина Марки де Тальнэ], ставшего после провозглашения империи во Франции *monsieur le marquis de Tallenay* [господином маркизом де Тальнэ]. Я легко усвоил себе эту привычку, хотя работа при сейме оставляла у меня уже достаточно времени как для прогулок пешком, так и для верховой езды. И в Берлине, став уже министром, я не отказывался танцевать, когда меня приглашали знакомые дамы или удостаивали такой чести принцессы; но мне постоянно приходилось выслушивать по этому поводу саркастические замечания короля. «Меня упрекают, – говорил он, – в том, что я избрал в министры человека легкомысленного. Вам не следовало бы поддерживать это мнение своими танцами». Принцессам было запрещено выбирать меня кавалером. Надолго сохранившаяся у господина фон Кейделя склонность к танцам равным образом была причиной тех затруднений, которые я встречал со стороны его величества к повышению Кейделя по службе. Все это не соответствовало скромной натуре императора, который привык блюсти свое достоинство, избегая между прочим таких внешних проявлений, которые, не имея сами по себе значения, могли подать повод к критике. В его представлении танцующий государственный деятель был уместен только как участник торжественных придворных кадрили; если же он кружится в вихре вальса, он дает повод усомниться в разумности своих советов.

Когда я уже совершенно освоился со своим положением во Франкфурте, – произошло это не без резких столкновений с австрийским представителем, прежде всего по вопросу о флоте, в связи с его попытками урезать в этом отношении влияние и финансовое значение Пруссии, с тем чтобы парализовать их на будущее, – король вызвал меня 28 мая 1852 г. в Потсдам и объявил мне свое решение послать меня в высшую школу дипломатии – в Вену: на первых порах поверенным в делах, а затем – преемником тяжело заболевшего графа Арнима. С этой целью король вручил мне приведенное ниже рекомендательное письмо к его величеству императору Францу-Иосифу, помеченное 5 июня:

«Ваше императорское величество, прошу вас благосклонно принять те немногие строки, коими я рекомендую подателя сего собственноручного моего письма, господина Бисмарка фон Шенгаузена, к вашему двору. Он принадлежит к рыцарскому роду, который еще ранее моего дома обосновался в наших марках и издревле сохраняет – особенно в его лице – свои старые добродетели. Его отважным и упорным трудам в недавнюю годину горьких испытаний обязаны мы сохранением и упрочением отрядных порядков в наших селах и деревнях. Вашему императорскому величеству известно, что господин фон Бисмарк занимает пост моего посланника при Союзном сейме. Так как в настоящее время состояние здоровья моего посланника при дворе вашего императорского величества, графа фон Арнима, потребовало временного его отсутствия», а отношения между нашими дворами не допускают (по моему мнению) второстепенного представительства, то я избрал господина фон Бисмарка для исполнения *vices* [должности] графа Арнима во время его отсутствия. Мне приятно думать, что ваше величество познакомится с человеком, которого, за его рыцарски свободную преданность престолу и за непримиримую вражду к революции вплоть до самых глубоких ее корней, многие у нас

почитают, а некоторые – ненавидят. Он мой друг и верный слуга и прибудет в Вену под свежим впечатлением и с живым сочувствием к моим принципам, моему образу действий, моим намерениям и, прибавлю, моей любви к Австрии и вашему величеству. Он может, – если это будет признано нужным, – дать вашему величеству и вашим высоким советникам ответы и разъяснения по ряду вопросов [с такой полнотой], как лишь немногие в состоянии это сделать; его кратковременное пребывание в Вене может оказаться поистине благотворным, если только неслыханные, издавна накапливавшиеся недоразумения не пустили слишком глубоких корней, от чего да сохранит нас Господь. Господин фон Бисмарк едет из Франкфурта, где всегда находило сильнейший отклик, а нередко – и свои истоки то, что средние государства, *чреватые Рейнским союзом*, с восторгом называют разногласиями между Австрией и Пруссией; все это, все тамошние происки он наблюдал на месте своим острым и верным взглядом. Я приказал ему отвечать на любой вопрос, который мог бы быть предложен ему по этому поводу вашим величеством или вашими министрами, так, как если бы вопрос был поставлен мною. Вы, ваше величество, пожелаете, быть может, получить у него объяснения насчет моего взгляда и моего отношения к делам Таможенного союза; я питаю уверенность, что в таком случае мой образ действий на этом поприще заслужит если и не полного вашего одобрения, – что было бы счастьем, – то, несомненно, вашего внимания. Пребывание здесь дорогого, прекрасного императора Николая было для меня подлинной отрадой. Подтверждение моей давней и твердой надежды на полное единодушие с вашим величеством в признании той истины, что *только* наше тройственное, нерушимое, исполненное веры и действительное согласие может спасти Европу и наше непослушное, но все же столь дорогое немецкое отечество из нынешнего критического состояния, преисполнило меня благодарности Богу и еще более усилило мою давнюю и верную любовь к вашему величеству. Сохраните и вы, дорогой друг, то расположение ко мне, каким я пользовался в дивные дни, проведенные на берегу Тегернского озера, и укрепитесь в своей доверии и столь важной и мощной, столь необходимой для нашего общего отечества дружбе ко мне! Этой дружбе поручаю я себя, дражайший друг, от всей души, пребывая вашего императорского величества верным и искренно преданным дядей, братом и другом.

Сан-Суси, 5 июня 1852 г.»

В Вене я застал «односложное» («*einsylbige*») министерство Буоля, Баха, Брука и пр.; отнюдь не друзья Пруссии, они были со мною весьма любезны, в расчете на мою восприимчивость к высокому благоволению и на ответные услуги в деловой сфере. Внешне я был принят с большими почестями, чем ожидал; но с деловой стороны, т. е. в отношении таможенных вопросов, моя миссия осталась безуспешной. Австрия и тогда уже имела в виду таможенное объединение с нами, но я ни тогда, ни впоследствии не считал разумным идти навстречу этим стремлениям. К необходимым предпосылкам таможенного единства принадлежит известная степень однородности потребления; даже в пределах Германского таможенного союза лишь с трудом удастся преодолеть различие интересов между севером и югом, востоком и западом, и то лишь при добром желании, проистекающем из чувства национальной общности; различие же в потреблении облагаемых пошлиной товаров между Венгрией и Галицией, с одной стороны, и Таможенным союзом – с другой, слишком велико, чтобы таможенное объединение представлялось осуществимым. Распределение таможенных доходов было бы в ущерб Германии даже тогда, когда цифры говорили бы как будто о том же применительно к Австрии. Цислейтания и еще более Транслейтания живут почти исключительно своими собственными, а не привозными продуктами. Кроме того, я в то время вообще не питал, да и теперь еще подчас не питаю, особого доверия к мелким чиновникам ненемецкого происхождения на Востоке.





Король Пруссии Фридрих-Вильгельм IV и его супруга Елизавета-Людовика. *Литография 1844 г.*



Фридрих-Вильгельм IV отказывается от императорской короны. *Карикатура 1849 г.*

Единственный секретарь нашей миссии в Вене встретил меня с неудовольствием по той причине, что не он был назначен поверенным в делах, и обратился в Берлин с прошением об

отпуске. Министр отказал ему в этом, я же сразу же отпустил его. Вот почему мне пришлось обратиться к моему давнишнему приятелю, ганноверскому посланнику графу Адольфу Платену, с тем чтобы он представил меня министрам и ввел в дипломатическое общество.

В доверительной беседе он спросил меня однажды, считаю ли и я себя назначенным в преемники Мантейфелю. Я ответил, что пока это не входит в мои расчеты, но я полагаю, что король думает сделать меня со временем своим министром и, видимо, подготавливает меня к этому, почему и возложил на меня данную *mission extraordinaire* [чрезвычайную миссию] в Австрии. Я же хотел бы прослужить еще лет десять посланником во Франкфурте или при различных дворах, с тем чтобы повидать свет, затем лет десять охотно нес бы службу министра, по возможности со славой, а уж потом, поселившись в имении, размышлял бы о пережитом и по примеру старика-дяди, живущего в Темплине, близ Потсдама, занимался бы прививкою плодовых деревьев. Этот шуточный разговор был передан фон Платеном в Ганновер, дошел до сведения генерального директора налогового управления Кленце, который вел в то время переговоры с Мантейфелем по таможенным вопросам и в моем лице ненавидел юнкера в либерально-бюрократическом понимании слова. Он поспешил передать Мантейфелю данные платеновского донесения, искаженные в том смысле, будто я стараюсь подкопаться под Мантейфеля. По возвращении из Вены в Берлин (8 июля) я почувствовал по некоторым внешним признакам последствия этих наветов. Проявлялось это в более холодном отношении ко мне моего начальника, не приглашавшего меня более останавливаться у него во время моих наездов в Берлин. Были взяты под подозрение и мои дружеские отношения к генералу фон Герлаху.

Выздоровление графа Арнима позволило мне уехать из Вены и побудило короля воздержаться пока от своего намерения назначить меня преемником Арнима. Но если бы граф и не выздоровел, я неохотно занял бы его место, ибо уже тогда у меня было такое чувство, что мой образ действий во Франкфурте превратил меня в *persona ingrata* [лицо неприемлемое] в Вене. Я опасался, что со мной будут продолжать обходиться там, как с элементом враждебным, будут затруднять мне мою службу и постараются уронить меня во мнении берлинского двора, а достигнуть этого путем переписки между дворами было бы еще легче, если бы я остался в Вене, нежели [при моем возвращении] во Франкфурт.

Мне припоминаются беседы о Вене, которые я впоследствии имел с глазу на глаз с королем во время продолжительных поездок по железной дороге. Я занимал тогда такую позицию: «Если ваше величество прикажете, я поеду туда, но – не по доброй воле; я уже навлек на себя недоброжелательство австрийского двора во Франкфурте, на службе у вашего величества, и если бы я получил назначение посланником в Вену, то у меня было бы такое чувство, что я выдан моим врагам. Каждое правительство с легкостью может повредить каждому аккредитованному при нем посланнику и пошатнуть его положение, прибегая к тем средствам, какие пускает в ход австрийская политика в Германии». Король обычно отвечал: «Приказывать я не хочу, вы должны отправиться туда добровольно и даже просить меня о том; ведь это высокая школа для вашего совершенствования в качестве дипломата, и вам следовало бы благодарить меня за то, что я беру заботу об этом на себя, зная, что вы того стоите».

Министерский пост также не вполне отвечал в то время моим желаниям. Я был убежден, что в качестве министра я не добился бы *приемлемого* для себя положения у короля. Он видел во мне яйцо, которое сам снес и высиживал, и при любом расхождении во взглядах ему казалось бы, что яйцо хочет учить курицу. Мне было ясно, что цели прусской внешней политики, как они представлялись мне, не вполне покрывались взглядами короля; так же ясны были мне и те затруднения, которые пришлось бы преодолевать ответственному министру этого монарха при свойственных ему приступам самовластия и изменчивых взглядах, при его деловой беспорядочности и подверженности проникавшим с заднего крыльца непрошеным влияниям политических интриганов; так уже повелось, что, начиная с приспешников наших курфюрстов и вплоть до более новых времен, подобные влияния – все эти *pharmacopolaе, balatrones, hoc genus*

отпе [знахари, фокусники и весь этот сброд] – находили доступ к царствующему дому, даже при строгом и самобытном Фридрихе-Вильгельме I. Быть покорным слугою и вместе с тем ответственным министром было в то время труднее, нежели при Вильгельме I.

В сентябре 1853 г. мне представилась возможность занять пост министра в Ганновере. Как раз тогда я закончил курс лечения ваннами в Нордернее, и бывший министр Бакмейстер, только что вышедший из министерства Шеле, стал зондировать почву, не соглашусь ли я быть министром короля Георга. Я высказался в том смысле, что мог бы служить интересам внешней политики Ганновера лишь при условии, что король всецело пошел бы рука об руку с Пруссией; я не мог бы сбросить с себя, как сюртук, свое пруссачество. Проездом к своим в Вильневе, на Женевском озере, куда я отправился из Нордернея через Ганновер, я имел несколько совещаний с королем. Одна из наших бесед происходила в нижнем этаже дворца, в кабинете, расположенном между спальнями короля и королевы. Король хотел, чтобы факт наших переговоров не разглашался, но пригласил меня на пять часов к обеду. Он не возвращался более к вопросу, соглашусь ли я быть его министром, но пожелал только, чтобы я, как лицо, сведущее в делах Союзного сейма, сделал ему доклад о том, каким образом может быть пересмотрена при помощи союзных постановлений конституция 1848 г. После того как я развил ему свой взгляд, он попросил меня изложить его письменно, и притом тут же. Мне пришлось в присутствии короля, с нетерпением ожидавшего у того же стола, набросать в общих чертах план действий, что было не легко, так как письменные принадлежности, употребляемые, видимо, редко, были из рук вон плохи: густые чернила, скверное перо, грубая бумага, пропускной бумаги вовсе не было; составленная мною записка политического содержания на четырех страницах с чернильными кляксами отнюдь не походила на выполненный по всем правилам канцелярского искусства документ. Король вообще ничего не писал, кроме своей подписи, да и это было ему трудно сделать в том помещении, где он ради соблюдения тайны принял меня. Впрочем, тайна была нарушена тем, что дело затянулось до шести часов, и приглашенные к пяти часам не могли не догадаться о причине опоздания. Когда пробили стоявшие позади короля часы, он вскочил и, не сказав ни слова, с поразительной при его слепоте быстротою и уверенностью прошел по комнате, заставленной мебелью, в смежную спальню или гардеробную. Я остался один, не зная, что делать, не имея понятия о расположении покоев дворца, запомнив только со слов короля, что одна из трех дверей ведет в спальню, где лежит больная корью королева. Убедившись, наконец, что никто не придет проводить меня, я вышел через третью дверь и наткнулся на лакея; тот, не зная меня, был встревожен и перепуган моим появлением в этой части дворца, но успокоился, когда я, уловив акцент его недоуменного вопроса, ответил по-английски и распорядился проводить меня к королевскому столу.

В тот же или на следующий день вечером, точно не помню, я еще раз имел продолжительную аудиенцию у короля без свидетелей, во время которой был поражен тем, как небрежно обслуживали слепого монарха. Все освещение большой комнаты сводилось к двойному подсвечнику с двумя восковыми свечами, на которые были надеты тяжелые металлические абажуры. Одна из свечей догорела, и абажур свалился на пол, причем раздался такой звук, словно ударили в гонг; но на шум никто не явился, да и в соседней комнате никого не оказалось, так что монарху самому пришлось указать мне, где находится звонок. Эта заброшенность короля показала мне тем более странной, что стол, у которого мы сидели, был завален всевозможными деловыми и частными бумагами; некоторые из них падали при малейшем движении короля, и мне приходилось поднимать их. Не менее удивительно было и то, что слепой монарх целыми часами беседовал со мной, чужим дипломатом, без ведома кого бы то ни было из министров.

Когда я думаю о моем пребывании в Ганновере, мне вспоминается один случай, который до сих пор остается для меня загадочным. К прусскому комиссару, назначенному в Ганновер для ведения переговоров по текущим таможенным вопросам, был из Берлина прикомандирован в помощники консул Шпигельталь. Когда я упомянул о нем в разговоре с моим приятелем

лем, министром фон Шеле, как о прусском чиновнике, тот смеясь выразил свое изумление: «Судя по его деятельности, он принял этого господина за австрийского агента». Я послал об этом зашифрованную депешу министру фон Мантейфелю и, так как этот Шпигельталь собирался вскоре ехать в Берлин, посоветовал обыскать его багаж при таможенном осмотре на границе и наложить арест на его бумаги. Мое ожидание, что в ближайшие дни я об этом прочту или услышу, не сбылось. А в конце октября, когда я провел несколько дней в Берлине и Потсдаме, генерал фон Герлах между прочим сказал мне однажды: «У Мантейфеля бывают иногда удивительные причуды: так, недавно он выразил желание, чтобы консул Шпигельталь был приглашен к королевскому столу и под угрозой отставки кабинета добился исполнения своего желания». Когда я сообщил ему в ответ на это мои ганноверские наблюдения, он придал своим мыслям непередаваемое выражение.

Глава пятая

Партия «Еженедельника». Крымская война

I

В кругах, противодействовавших королевской власти, продолжали связывать успех германского дела со слабой надеждой на рычаги в духе герцога Кобургского, на английскую и даже французскую помощь, в первую же очередь – на либеральные симпатии немецкого народа. В своем практически-действенном проявлении эти надежды ограничивались узким кругом придворной оппозиции, так называемой фракцией Бетман-Гольвега, которая пыталась расположить в свою пользу и в пользу своих стремлений принца Прусского. Это была фракция, которая в народе никакой опоры не имела, а в рядах национал-либерального или, как тогда говорили, «готского» направления пользовалась лишь незначительной поддержкой. Я не считал этих господ попросту национальнонемецкими мечтателями, скорей наоборот. Влиятельный и поныне (1891 г.) еще здравствующий долголетний адъютант императора Вильгельма, граф Карл фон дер Гольц, к которому всегда имел свободный доступ его брат со своими приятелями, был когда-то изящным и весьма неглупым гвардейским офицером, пруссаком с головы до ног и царедворцем, интересовавшимся остальной Германией лишь в той мере, в какой этого требовало его положение при дворе. Он умел пожить, любил охоту с борзыми, обладал красивой наружностью, пользовался успехом у дам и вел себя уверенно на дворцовом паркете; политика стояла у него не на первом плане и приобретала в его глазах значение лишь тогда, когда она была нужна ему при дворе. Он знал, как никто другой, что нет более верного средства заручиться содействием принца в борьбе против Мантейфеля, чем напоминание об Ольмюце, а случай напомнить принцу об этом уколе его самолюбию постоянно представлялся графу и в путешествиях и в домашней обстановке.

Названная впоследствии по имени Бетман-Гольвега партия, вернее – клика, опиралась первоначально на графа Роберта фон дер Гольца, человека необычайно способного и деятельного. Господин фон Мантейфель проявил неловкость и дурно обошелся с этим даровитым честолюбцем; очутившись в результате не у дел, граф сделался импресарио труппы, которая выступила на сцену сначала как придворная фракция, а потом – как министерство регента. Она начала завоевывать влияние как в прессе, особенно посредством основанного ею органа «Preussisches Wochenblatt» [«Прусский еженедельник»], так и путем вербовки сторонников в политических и придворных кругах. «Финансирование», как говорят на бирже, шло за счет крупных состояний Бетман-Гольвега и графов Фюрстенберга-Штаммгейм и Альберта Пурталеса; выполнение же политической задачи и достижение ее ближайшей цели – низвержение Мантейфеля – взяли в свои искусные руки графы Гольц и Пурталес. Оба они изящно писали по-французски, тогда как господину фон Мантейфелю при составлении дипломатических документов приходилось полагаться главным образом на доморощенные традиции своих чиновников из французской колонии Берлина. Граф Пурталес был также обижен по службе министром-президентом и поощрялся королем как соперник Мантейфеля.

Гольц, несомненно, стремился стать, рано или поздно, министром, если даже и не в качестве непосредственного преемника Мантейфеля. Данные для этого он имел гораздо большие, чем Гарри фон Арним, так как был менее тщеславен, более патриотичен и обладал более сильным характером; правда, в нем было также больше гнева и желчи, а это при свойственной ему энергии оказывалось минусом в его практической деятельности. Я лично содействовал его назначению сначала в Петербург, а затем в Париж и быстро продвинул Гарри фон Арнима, не

без противодействия кабинета, с той незначительной должности, на которой застал его, но оба эти наиболее способные из моих дипломатических сотрудников заставили меня изведать то, что испытал Иглано по милости Ансельмо в стихотворении Шамиссо.

К этой фракции присоединился и Рудольф фон Ауэрсвальд, хотя и держался несколько в стороне. Однако в июне 1854 г. он приехал ко мне во Франкфурт и заявил, что считает кампанию, которую он вел последние годы, проигранной, склонен прекратить все это и готов дать слово не вмешиваться больше во внутреннюю политику, если его назначат посланником в Бразилию. Хотя я и советовал Мантейфелю в его же собственных интересах пойти на это, с тем чтобы нейтрализовать достойным путем тонкий ум этого опытного, заслуживающего уважения человека и друга принца Прусского, все же недоверие или антипатия к Ауэрсвальду со стороны Мантейфеля и генерала фон Герлаха были так сильны, что министр отклонил его назначение. Мантейфель и Герлах были вообще солидарны если и не между собой, то против партии Бетман-Гольвега. Ауэрсвальд остался в Пруссии и был одним из главных посредников между принцем и враждебными Мантейфелю элементами.

Граф Роберт Гольц, с которым я был дружен еще с юности, попытался во Франкфурте добиться и моего присоединения к фракции. Поскольку от меня потребовали бы содействия низвержению Мантейфеля, я отказался, сославшись на то, что занял франкфуртский пост при полном в то время доверии ко мне Мантейфеля; поэтому я счел бы нечестным использовать отношение ко мне короля для низвержения Мантейфеля, пока последний сам не поставит меня перед необходимостью порвать с ним; да и в этом случае я предварительно объявил бы ему открыто враждебные действия и обосновал бы это. Граф Гольц собирался тогда жениться и указал мне на пост посланника в Афинах как на то, чего он непосредственно домогался. «Мне следует дать пост, – прибавил он с горечью, – и притом хороший, впрочем опасаться этого мне не приходится».

Острая критика и изображение последствий политики Ольмюца, вина за которую фактически падала не столько на прусского уполномоченного, сколько на неуклюжее – чтобы не сказать больше – руководство прусской политикой до встречи уполномоченного с князем Шварценбергом, – вот оружие, с которым Гольц вступил в борьбу против Мантейфеля и завоевал симпатию принца Прусского. Ольмюц был больным местом солдатского чувства принца, и лишь свойственная ему дисциплина военного и роялиста по отношению к королю подчиняла себе в данном случае ощущавшуюся им обиду и боль. Вопреки всей своей любви к русским родственникам, которая под конец нашла свое выражение в интимной дружбе с императором Александром II, принц продолжал чувствовать унижение, причиненное Пруссии императором Николаем; и это чувство укреплялось в нем по мере того, как неодобрение политики Мантейфеля и австрийских влияний все ближе подводило принца к более чуждой ему прежде германской миссии Пруссии.

Летом 1853 г. казалось, что Гольц близок к своей цели и, хотя не устранит Мантейфеля, но будет министром. Генерал Герлах писал мне 6 июля:

«От Мантейфеля я слышал, будто Гольц заявил ему, что он может вступить в министерство лишь в том случае, если будет изменено окружение короля. Это значит прежде всего – если меня уберут. Впрочем, я полагаю, я мог бы даже сказать – знаю, что Мантейфель хотел бы привлечь Гольца советником в министерство иностранных дел, чтобы иметь там противовес другим лицам, как Ле Кок и др. (скорее – Герлаху и его друзьям при дворе) и т. д., что, однако, слава Богу, сорвалось благодаря упрямству Гольца. Осуществляется, думается мне, план – всеми ли намеченными участниками осознанный или не осознанный и до конца или наполовину, я оставляю в стороне – сформировать под покровительством принца Прусского министерство, в котором, после устранения Раумера, Вестфалена и Бодельшвинга, Мантейфель функционировал бы в качестве председателя, Ланденберг – по культурам, Гольц – по ино-

странным делам и которое обеспечило бы себе большинство в палате, что, по-моему, не очень трудно. Тогда бедный король оказался бы между большинством палаты и своим наследником и не мог бы пошевелиться. Все, чего добились Вестфален и Раумер, а они единственные люди, которые кое-что делали, пошло бы насмарку, не говоря уже о прочих последствиях. Мантейфель, как дважды человек ноября, оказался бы, как и сейчас, inevitable [необходимым]».

Во время Крымской войны противоречия между различными элементами, которые стремились влиять на решения короля, обострились, а вместе с тем вновь усилилось наступление фракции Бетман-Гольвега на Мантейфеля. Свое отрицательное отношение к разрыву с Австрией и к тому направлению политики, которое привело нас на богемские поля сражений, министр-президент проявлял особенно настойчиво во все критические для нашей дружбы с Австрией моменты. При князе Шварценберге, тотчас же после Крымской войны, когда содействием Пруссии злоупотребили для проведения австрийской политики на Востоке, наши отношения к Австрии напоминали отношения Лепорелло к Дон Жуану. Во Франкфурте, где ко времени Крымской войны все государства Германского союза, кроме Австрии, пытались добиться того, чтобы Пруссия отстаивала их интересы от засилья Австрии и западных держав, я, в качестве представителя прусской политики, не мог без стыда и огорчения видеть, как мы уступали австрийским притязаниям, предъявляемым даже в не особенно вежливой форме, и как мы приносили в жертву свою собственную политику и свое самостоятельное мнение, отступали шаг за шагом и, угнетаемые сознанием приниженности, боясь Франции и смиряясь перед Англией, искали спасения, тащась на буксире у Австрии. Королю не чужды были эти мои взгляды, но он не склонен был выйти из подобного положения, прибегнув к политике большого стиля.

Когда Англия и Франция объявили 28 марта 1854 г. войну России, мы заключили с Австрией 20 апреля договор о наступательном и оборонительном союзе, коим Пруссия обязалась в случае надобности сконцентрировать в течение 36 дней 100 тысяч человек – одну треть в Восточной Пруссии, остальные две трети в Познани или под Бреславлем – и довести состав армии, если потребуют обстоятельства, до 200 тысяч человек, сговорившись обо всем этом с Австрией.

5 мая Мантейфель написал мне следующее раздраженное письмо:

«Генерал фон Герлах только что сообщил мне, что его величество король повелел вашему высокоородию присутствовать здесь на совещаниях в связи с обсуждением вопроса об австро-прусском союзе в Сейме и что господин генерал уже известил ваше высокоородие об этом. В соответствии с этим высочайшим повелением, о котором мне до сих пор, впрочем, ничего не было известно, я позволяю себе покорнейше просить ваше высокоородие немедленно прибыть сюда. Учитывая предстоящее в скором времени обсуждение вопроса в Союзном сейме, следует полагать, что ваше пребывание здесь не будет продолжительным».

При обсуждении договора от 20 апреля я рекомендовал королю воспользоваться случаем, чтобы вывести нас и прусскую политику из подчиненного и, как мне казалось, недостойного положения и занять позицию, которая обеспечила бы нам симпатии и руководящее положение среди немецких государств, желавших соблюдать вместе с нами и при нашей поддержке независимый нейтралитет. Я считал это достижимым, если мы, по предъявлении нам австрийского требования выставить войско, изъявим к этому полную дружественную готовность, но выставим свои 66 тысяч человек, а фактически и больше, не у Лиссы, а в Верхней Силезии, чтобы наша армия могла перейти одинаково легко как русскую, так и австрийскую границу, в особенности если мы не постесняемся и выставим негласно гораздо более 100 тысяч человек. Имея в своем распоряжении 200 тысяч человек, его величество был бы в тот момент госпо-

дином всей европейской ситуации, мог бы продиктовать условия мира и занять в Германии положение, вполне достойное Пруссии.

Франция, занятая разрешением задач, стоявших перед нею в Крыму, была не в состоянии угрожать нашей западной границе. Армия, которой располагала Австрия, находилась в Восточной Галиции, где она теряла от болезней гораздо больше, нежели могла бы потерять на полях сражений. Эта армия была прикована расположенной в Польше русской армией, в которой, по крайней мере на бумаге, числилось 200 тысяч человек. Если бы эта русская армия была перебросена в Крым, она приобрела бы решающее влияние на создавшуюся там ситуацию, но положение на австрийской границе не позволяло осуществить такой поход. Нашлись уже тогда дипломаты, которые включили в свою программу восстановление Польши под протекторатом Австрии. Обе упомянутые армии стояли одна против другой и не могли никуда двинуться, так что Пруссия имела возможность дать своим содействием перевес любой из них. Возможная блокада нашего побережья Англией не представила бы большей опасности, чем полная блокада, которой мы уже неоднократно подвергались несколько лет тому назад со стороны Дании, но зато мы были бы вознаграждены, достигнув своей и немецкой независимости, освободившись от угрозы и давления австро-французского союза и избавив от насилия расположенные между Австрией и Францией средние государства. Во время Крымской войны престарелый король Вильгельм Вюртембергский сказал мне однажды в Штутгарте в интимной беседе, у камина: «Мы, южногерманские государства, не можем быть во враждебных отношениях одновременно с Австрией и Францией, мы находимся слишком близко от Страсбурга. Это – открытые ворота для нападения, и нас могут оккупировать с запада раньше, чем подоспеет помощь из Берлина. Если Вюртемберг подвергнется нападению и если я честно перейду в прусский лагерь, то мольбы моих подданных, притесняемых неприятелем, призовут меня обратно; вюртембергская рубашка мне ближе к телу, нежели костюм союза». Не лишняя основания безнадежность, сквозившая в этих словах умного престарелого государя, и более или менее озлобленное настроение в прочих союзных государствах, за исключением Дармштадта, где господин фон Дальвик-Цегорн твердо уповал на Францию, – все эти настроения, конечно, изменились бы, если бы решительное выступление Пруссии в Верхней Силезии показало, что ни Австрия, ни Франция не могут оказать нам в тот момент превосходящего по силе сопротивления, коль скоро мы решительно воспользовались бы их опасным и уязвимым положением.

Убежденный тон, каким я излагал королю [свой взгляд на] положение дел и на [представившиеся нам] возможности, произвел на него, видимо, впечатление; он благосклонно улыбнулся и сказал на берлинском диалекте: «Все это очень хорошо, мой милый, но обойдется мне слишком дорого. Такие насильственные действия может позволить себе человек вроде Наполеона, но не я».

II

Затянувшееся присоединение к договору от 20 апреля средних немецких государств, совещавшихся по этому поводу в Бамберге; попытки графа Буоля создать повод к войне, неудавшиеся вследствие очищения Молдавии и Валахии русскими войсками; союз с западными державами, предложенный им и заключенный 2 декабря втайне от Пруссии; четыре пункта Венской конференции и дальнейший ход событий вплоть до Парижского мира, заключенного 30 марта 1856 г., – все это описано Зибелем по архивным материалам, а мое официальное отношение ко всем этим вопросам изложено в сочинении «Preussen im Bundestage» [«Пруссия в Союзном сейме»]. О том, что происходило в это время в кабинете, о разных соображениях и влияниях, коими определялись действия короля в изменявшихся условиях, уведомлял меня тогда генерал фон Герлах; привожу наиболее интересные отрывки из его писем. Для этой переписки мы завели с осени 1855 г. нечто вроде шифра, в котором

государства обозначались названиями известных нам деревень, люди же назывались – не без юмора – именами шекспировских персонажей.

«Берлин, 24 апреля 1854 г.

Фра Дьяволо (Мантейфель) заключил соглашение с (фельд-цехмейстером) Гессом, притом такого рода, что я не могу назвать это иначе как проигранным сражением. Все мои военные расчеты, все ваши письма, решительно доказывавшие, что Австрия никогда не отважится прийти без нас к какому-нибудь определенному соглашению с Западом (т. е. с западными державами), ни к чему не привели; испугались тех, кто сам запуган, и отнюдь не исключено – в чем приходится согласиться с Ф[ра] Д[ьяволо], – что именно из страха Австрия могла решиться на смелый прыжок в сторону Запада.

Но как бы то ни было, это соглашение стало *fait accompli* [совершившимся фактом], и теперь необходимо, как после проигранного сражения, собрать распыленные силы, чтобы снова быть в состоянии противостоять врагу; надобно прежде всего заметить, что в договоре все основано на взаимном соглашении. Но именно поэтому ближайшим и весьма скверным последствием будет то обстоятельство, что, коль скоро мы прибегнем к правильному, с нашей точки зрения, толкованию, нас тотчас обвинят в двоедушии и вероломстве. Прежде всего нам надобно стать толстокожими, а затем стараться предупредить это теперь же, пока еще не произошло столкновения, и немедленно изложить и в Вене и во Франкфурте наше толкование договора. Ведь при нынешнем положении дел у сильного и смелого министра иностранных дел руки еще не связаны. Все необходимые шаги в Петербурге мы предпринимает самостоятельно, можем, стало быть, оставаться последовательными и договориться во всяком случае о взаимности и обо всем том, чего недостает в договоре. Будберга и графа Г. фон М[юнстера] я постарался по мере сил утихомирить, Нибур работает весьма усердно и деятельно в том же направлении, держит себя, как всегда, ловко и превосходно. Но что толку штопать эти прорехи; ведь это, в конце концов, неблагодарная работа. Такова уж природа человека, а значит, и нашего государя, что если он с *помощью* какого-либо слуги подстрелил козла или тем более козулю, он именно *этого* слугу больше всех приближает к себе, а с рассудительными и верными друзьями обходится плохо. Как раз в таком положении нахожусь я сейчас, и, право, это положение незавидное...

Сан-Суси, 1 июля 1854 г.

...Дела снова страшно запутались, но пока обстоят все же таким образом, что, если ничто не сорвется, можно, пожалуй, рассчитывать на хороший конец... Если мы не удержим Австрию как можно долее, то тем самым возьмем на себя тяжелую вину, вызовем к жизни триаду, которая положит начало Рейнскому союзу и распространит влияние Франции до самых ворот Берлина. Сейчас бамбержцы сделали попытку образовать триаду под протекторатом России, отлично понимая, что не трудно переменить протекторат, тем более что кончится вся эта песенка франко-русским союзом, если только у Англии не откроются вскоре глаза и она не поймет всей нелепости войны и союза с Францией...

Сан-Суси, 22 июля 1854 г.

...Для немецкой дипломатии, поскольку она исходит сейчас от Пруссии, открывается в настоящий момент блестящее поле битвы, ибо, к сожалению, Прокеш, видимо, не без основания, трубит в атаку за своего императора. Известия из Вены неважные, хотя я все еще не теряю надежды, что в последний час Буоль разойдется с императором... Было бы величайшей ошибкой, какую только можно сделать, если бы мы не использовали еще не совсем понятный мне антифранцузский энтузиазм Баварии, Вюртемберга, Саксонии и Ганновера. Как только выяснится позиция Австрии, т. е. отчетливо выступят ее симпатии к западным державам, должны

начаться самые оживленные переговоры с немецкими государствами, и мы должны заключить союз князей, но совсем иного рода и покрепче, чем тот, который был заключен Фридрихом II...

Шарлоттенбург, 9 августа 1854 г.

...Ф[ра] Д[иаволо] до сих пор вполне благоразумен, но, как вам известно, полагаться на него нельзя. Мне кажется, вам предстоит наставить обе стороны на путь истины. Во-первых, постарайтесь втолковать вашему приятелю П[рокешу] правильную политику и дайте ему понять, что теперь отпадает какой-либо повод потворствовать Австрии в ее желании во что бы то ни стало воевать с Россией, а затем вам надобно указать немецким государствам тот путь, по которому им надлежит идти... Это прямо несчастье, что пребывание [короля Фридриха-Вильгельма] в Мюнхене снова возбудило в некоем месте энтузиазм германомании. Мечта о немецкой резервной армии с ним во главе – это путанная идея, дурно влияющая на политику. Людовик XIV говорил: «l'état c'est moi» [«государство – это я»]. Его величество имеет несравненно больше оснований сказать: «l'Allemagne c'est moi» [«Германия – это я»].

Л. ф. Г.»

Следующее письмо, полученное мною от кабинет-советника Нибура, еще более выяснило мне настроения при дворе.

«Путбус, 22 августа 1854 г.

...Я, разумеется, не закрываю глаза на добрые намерения, если даже они направлены, по моему мнению, не туда, куда нужно, и выполняются не так, как следует; я не отрицаю также права соблюдать свои интересы, хотя бы они были диаметрально противоположны тому, что я не могу не считать правильным. Но я требую правды и ясности, и отсутствие их может повергнуть меня в отчаяние. Я не могу упрекнуть *нашу* политику в недостатке правдивости *во вне*, но она заслуживает этого упрека по отношению к нам самим. Мы были бы в совершенно ином положении и многого избежали бы, если бы признались в истинных мотивах такого поведения, вместо того чтобы делать вид, будто отдельные акты нашей политики последовательно вытекают из ее правильных основных идей. Истинная причина того, что мы не отказались от участия в венских совещаниях после прибытия англо-французского флота в Дарданеллы и поддерживали последнее время в Петербурге требования западных держав и Австрии, заключается в ребяческом страхе, как бы не оказаться «вытесненными из concert europeen [европейского концерта]» и «не утратить положения великой державы». Нелепее этого ничего нельзя себе представить: ведь говорить о concert europeen в то время, когда две державы воюют с третьей, – это прямо-таки деревянное железо; а положением великой державы мы, право, обязаны не благоволению к нам Лондона, Парижа или Вены, а нашему доброму мечу. К этому повсеместно примешивается известное раздражение против России, которое я вполне понимаю и даже разделяю, но которому нельзя сейчас поддаваться, не повредив этим себе же.

Где нет правдивости перед самим собой, там нет и ясности. Так мы живем и действуем, хотя все же не столь безотчетно, как в Вене, где, будто в сонной одуре, все время действуют так, точно России война уже объявлена; но как [можно] в одно и то же время быть нейтральным, брать на себя мирное посредничество и в то же время рекомендовать вещи, подобные предложениям, сделанным морскими державами, – это моему слабому уму непостижимо».

Приводимые ниже выдержки позаимствованы снова из писем Герлаха.

«Сан-Суси, 13 октября 1854 г.

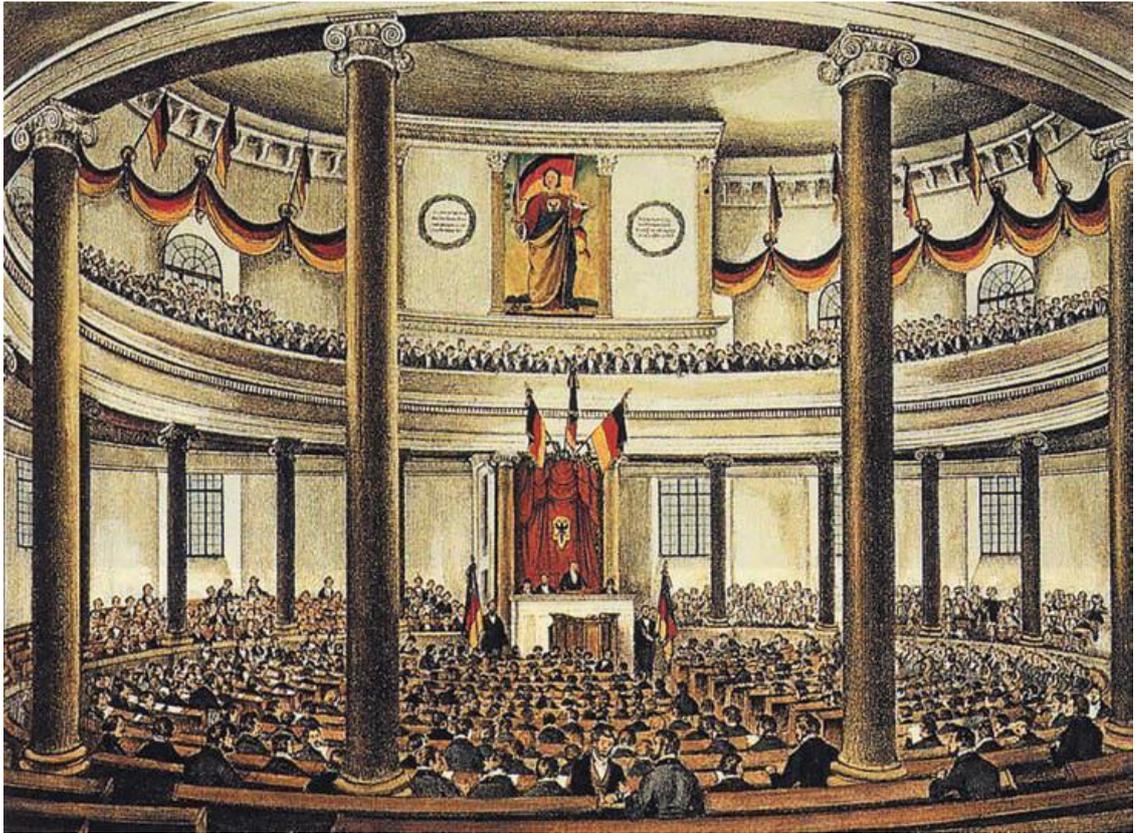
... После того как я все прочел и по мере сил сопоставил и взвесил, я считаю *весьма вероятным*, что требуемые две трети голосов от Австрии не уйдут. Ганновер ведет фальшивую

игру, Брауншвейг настроен в пользу западных держав, тюрингенцы – также, Бавария подвержена всяким настроениям, а его величество король колеблется, как тростник. Даже относительно Бейста поступают подозрительные сведения. К тому же в Вене, по-видимому, решили воевать. Приходят к заключению, что дальше выжидать, будучи вооруженными, невозможно уже по финансовым соображениям, и считают, что опаснее повернуть назад, нежели идти вперед. Повернуть назад в самом деле не так-то легко, и я не вижу, откуда у императора могла бы явиться такая решимость. Австрия могла бы скорее, и на первый взгляд легче, нежели Пруссия, помириться с такими революционными планами западных держав, как, например, восстановление Польши, бесцеремонность в отношении России и т. д.; но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что Франция и Англия могут причинить затруднения скорее не нам, а Австрии, как в Венгрии, так и в Италии. Император в руках своей полиции; а что это значит, я понял в последние годы⁷; он поверил, будто Россия подстрекала Кошута и т. п. Этим он окончательно успокоил свою совесть; а то, чего не в состоянии сделать полиция, доделает ультрамонтанство, ненависть к православной церкви и к протестантской Пруссии. Поэтому уже” теперь поговаривают о королевстве польском под властью австрийского эрцгерцога... Что из всего этого следует? Что надлежит быть весьма настороже и готовыми ко всему, даже к войне с находящимися в союзе с Австрией западными державами, что немецким князьям доверять нельзя и т. д. Дай Бог, чтобы мы не оказались слабыми, но, положив руку на сердце, не могу сказать, чтобы я особенно доверял вершителям наших судеб. Будем поэтому крепко держаться друг друга. В 1850 г. Радовиц активно довел нас до такого же положения, какое пассивно создано теперь Буолем со стороны...»

«[Сан-Суси] 15 ноября 1854 г.

... Что касается Австрии, то тамошняя политика стала мне, наконец, ясна из последних переговоров. В мои лета соображаешь уже туговато. Австрийская политика является в основном не ультрамонтанской, как думает его величество, хотя при случае она не прочь использовать и ультрамонтанство; Австрия не преследует обширных завоевательных планов на Востоке, хотя не прочь отхватить кое-что и там; о германской императорской короне она не помышляет. Все это слишком возвышенно и лишь используется время от времени как маленькое средство на пути к цели. Австрийская политика – это политика страха, основанная на тяжелом внутреннем и внешнем положении Италии и Венгрии, на запутанности финансов, на пограничном праве, на страхе перед Бонапартом, на боязни мести со стороны русских, а также на страхе перед Пруссией, которую подозревают в такой злокозненности, какой у нас никогда и в мыслях не было, – все это и служит мнимым оправданием этой политики. Мейендорф говорит: «Мой зять Б[уоль] – политический пройдоха; он боится всякой войны, но войны с Францией во всяком случае больше, нежели с Россией». Суждение вполне справедливое: этим-то страхом и определяется линия Австрии...

⁷ Герлах имел, вероятно, в виду Ома и Хантге, а также те донесения об опасных замыслах немецких эмигрантов, которые прислал из Лондона австриец Таузену, человек с богатой фантазией и хорошо оплачиваемый. Король, по-видимому, усомнился в надежности этой информации; непосредственно через свой кабинет он поручил посланнику Бунзену получить соответствующие сведения от английской полиции, согласно которым немецкие эмигранты в Лондоне были слишком поглощены добыванием средств к существованию, чтобы думать о покушениях.



Франкфуртское национальное собрание. 1848 г. Худ. Л. фон Эллиот



Князь Меттерних, министр иностранных дел Австрии в 1809–1848 гг. *Литография Й. Крихубера*

Мне кажется, если учесть, что всегда опасно находиться в одиночестве, а положение внутри страны таково, что обострять его тоже опасно, и ни на Ф[ра] Д[иаволо], ни на... положиться нельзя, то, по-моему, было бы благоразумнее пойти на уступки Австрии, насколько только можно. Но возможность эта исключается при каком бы то ни было союзе с Францией, который для нас неприемлем ни с моральной, ни с финансовой, ни с военной точки зрения. Это было бы для нас гибелью, мы потеряли бы нашу славу 1813–1815 гг., которой мы живем, мы должны были бы уступить крепости союзникам, справедливо нам не доверяющим, и мы должны были бы кормить их. Бонапарт, l'elu de sept millions [избранник семи миллионов], немедленно подыскал бы короля для Польши с таким же правовым титулом, каким обладает он сам. Для этого короля без труда нашли бы избирателей в любом числе».

«Потсдам, 4 января 1855 г.

... Я полагаю, что, будь вы здесь, мы с вами были бы заодно если и не в принципе, то хотя бы на практике, потому что я, следуя Священному Писанию, считаю, что нельзя делать зла, чтобы вышло добро; сотворивший же будет осужден. Заигрывание же с Бонапартом и либерализмом есть зло, а в данном случае, по-моему, это еще и неразумно. Вы забываете (ошибка, в которую впадает всякий, кто хотя на короткое время покидает наши края) о личностях, а ведь они-то и решают все. Как можете вы предпринимать такие замысловатые обходные маневры при совершенно беспринципном и ненадежном министре, который помимо своей воли оказывается совращенным на ложный путь, и при таком своеобразном – чтобы не сказать больше – государе, поступки которого предвидеть невозможно. Учтите же, что Ф[ра] Д[иаволо] – убежденный бонапартист; припомните его поведение во время *coup d'état* [государственного переворота], покровительство писаниям Квеля, а если хотите что-нибудь поновее, то могу вам сообщить, что он на днях в письме Вертеру (тогдашнему посланнику в Петербурге) выражал нелепое мнение, что, если мы хотим принести пользу России, нам следует присоединиться к договору от 2 декабря, дабы иметь право голоса в переговорах...

Если переговоры, происходящие в Вене, примут такой оборот, что можно будет рассчитывать на успех, то нас привлекут и не станут игнорировать нас с нашим 300-тысячным войском. Это уже и сейчас было бы невозможно, если бы мы своим постоянным прихрамыванием на две стороны, а иногда и на три не подорвали всякое доверие к себе и не утратили способности внушать страх.

Я бы очень хотел, чтобы вы приехали сюда хотя бы на несколько дней для ориентировки. Я знаю по личному опыту, как легко дезориентируешься при сколько-нибудь длительном отсутствии. Именно ввиду сугубо личного характера наших условий трудно рассказать о них в письменной форме, тем более что тут замешаны люди беспринципные и ненадежные. Мне всегда становится жутко, когда его величество секретничает с Ф[ра] Д[иаволо], ибо когда король чувствует, что он чист перед Богом и перед собственной совестью, он не только со мной, но и со многими другими бывает откровеннее, нежели с Ф[ра] Д[иаволо]. При этом секретничании получается смесь слабости и ухищрений на одной стороне и редкого подобострастия – на другой, что ведет обычно к самым печальным последствиям».

«Берлин, 23 января 1855 г.

... Что меня крайне угнетает, – это всеобщее распространенный бонапартизм, а также безразличие и легкомыслие, с какими взирают на эту надвигающуюся величайшую опасность. Неужели же так трудно разгадать, куда гнет этот человек?.. А между тем, как обстоят здесь дела? *The king can do no wrong* [король не может ошибаться]. О нем я умалчиваю; Ф[ра] Д[иаволо] – ярый бонапартист... Бунзен в Лондоне вместе с Узедомом – совсем не пруссаки. Гацфельд в Париже женат на бонапартистке, и она его так обработала, что здешний его зять считает старого Бонапарта ослом по сравнению с нынешним. Что из этого выйдет, и можно ли упрекать короля, когда у него такие слуги? О случайных советниках нечего и говорить!..»

Активная, предприимчивая антиавстрийская политика встречала со стороны Мантейфеля еще меньше сочувствия, чем со стороны короля. Когда мы обсуждали этот вопрос с моим начальником с глазу на глаз, он производил, правда, впечатление, что разделяет мое борусское негодование по поводу обидного и пренебрежительного обращения с нами, проявившегося в политике Буоля – Прокеша. Но когда ситуация требовала дела, когда нужно было совершить решительный дипломатический шаг в антиавстрийском духе или хотя бы только поддержать отношения с Россией, не предпринимая прямых враждебных выступлений против этого доселе дружественного нам соседа, дело обострялось, и отношения между королем и министром-президентом доводили до кризиса кабинета. При этом король угрожал министру-президенту то мною, то графом Альвенслебеном, а однажды, зимой 1854 г., – даже графом Альбертом Пур-

талесом из клики Бетман-Гольвега, хотя его взгляды на внешнюю политику были совершенно противоположны моим и вряд ли совместимы со взглядами графа Альвенслебена.

Кризис неизменно завершился примирением короля с министром. Один из трех контр-кандидатов на министерский пост – граф Альвенслебен – заявил почти во всеуслышание, что при этом монархе он никогда никакого поста не примет. Король хотел послать меня к нему в Эркслебен, но я посоветовал не делать этого, потому что Альвенслебен незадолго перед тем с горечью повторил мне во Франкфурте это свое заявление. Однако, когда мы с ним увиделись вновь, его недовольство уже улеглось, он был склонен ответить на предложение его величества согласием и выражал пожелание, чтобы вместе с ним вошел в министерство и я. Но король не заговаривал со мной больше об Альвенслебене, может быть, потому, что вскоре после моей поездки в Париж (в августе 1855 г.) при дворе наступило некоторое охлаждение ко мне. В особенности охладела ее величество королева. Граф Пурталес из-за своего богатства казался королю «слишком независимым». Король был того мнения, что министры, небогатые и живущие только на свое жалованье, – послушнее. Сам я уклонялся по мере возможности от ответственного поста при этом государе и всегда старался помирить его с Мантейфелем, к которому ездил с этой целью в его имение (Дрансдорф).

III

При такой ситуации партия «Еженедельника», как иногда называли эту группу, вела странную двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными записками обменивались эти господа. Порой они знакомили с содержанием записок и меня, надеясь привлечь на свою сторону. В качестве цели, к которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу Европы, там намечалось: расчленение России, отторжение ее остзейских губерний, которые, включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей территории Польской республики в самых обширных ее пределах, раздробление остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной территории Польской республики. В оправдание этой программы ссылались преимущественно на теорию барона фон Гакстгаузена-Аббенбурга («Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России»), который доказывал, что эти три области, взаимно дополняющие своей продукцией друг друга, обеспечат 100 миллионам русских, если они будут едины, преобладание над остальной Европой.

Из этой теории делали вывод о необходимости культивировать естественный союз с Англией, смутно намекая на то, что если Пруссия поможет ей своей армией против России, то и Англия со своей стороны поддержит прусскую политику в том направлении, которое тогда называлось «готским». Согласно категорическим предсказаниям этих господ, германское устройство, которое впоследствии было завоевано на поле брани армией короля Вильгельма, должно было быть добыто с помощью пресловутого общественного мнения английского народа то ли в союзе с принцем Альбертом, который давал королю и принцу Прусскому непрошенные наставления, то ли в союзе с лордом Пальмерстоном, который в беседе с депутацией радикальных представителей городских предместий назвал в ноябре 1851 г. Англию благоразумным секундантом (*judicious bottleholder*) всякого народа, борющегося за свою свободу, и по наущению которого памфлеты объявили позднее того же принца Альберта опаснейшим противником освободительных стремлений. Никто не чувствовал, – а менее всего сторонники подобных экспериментов, – потребность продумать до конца вопрос о том, захочет ли Пальмерстон или какой-нибудь другой английский министр, идя рука об руку с либерализмом готского пошиба и с фрондой при прусском дворе, вызвать Европу на неравный бой и принести интересы Англии в жертву немецким объединительным стремлениям, а равно и другой вопрос – в состоянии ли

это сделать Англия, не встретив поддержки других континентальных держав, при содействии одной только прусской политики, руководимой в духе герцога Кобургского. Фразой, готовностью одобрить ради партийных интересов всякую глупость – вот чем прикрывались все щели в шатком здании тогдашней закулисной западнической политики двора (Hofnebenpolitik). Этими ребяческими утопиями тешились в партии Бетман-Гольвега люди, несомненно, умные, разыгрывая роль государственных мужей; они считали возможным рассматривать в своих планах будущей Европы 60 миллионов великороссов как *carut mortuum*; они считали, что этот народ можно как угодно третировать, не превращая его тем самым неизбежно в союзника всякого будущего врага Пруссии, что вынудило бы Пруссию при всякой войне с Францией прикрывать свой тыл от Польши, ибо невозможно такое решение в провинциях Пруссии, Познани и даже Силезии, которое удовлетворило бы Польшу, не нарушив целостности самой Пруссии. Эти политики не только сами мнили себя в то время мудрецами – их премудрость превозносила и либеральная пресса.

Из творений «Прусского еженедельника» мне запомнилась памятная записка, составленная якобы при императоре Николае в министерстве иностранных дел в Петербурге в качестве руководства для наследника престола; в этой записке были изложены, в применении к современности, основные черты русской политики, намеченные в подложном завещании Петра Великого, сфабрикованном примерно в 1810 г. в Париже. Записка изображала Россию, ведущую подрывную работу против всех государств с целью добиться мирового господства. Впоследствии мне сообщали, что это произведение, попавшее в заграничную, а именно в английскую, печать, было доставлено Константином Францом.

В то время как Гольц и его берлинские сподвижники довольно ловко обдeldывали свои дела, примером чего может служить упомянутая статья, Бунзен, посланник в Лондоне, имел неосторожность послать в апреле 1854 г. министру Мантейфелю пространную записку, в которой выдвигались требования восстановления Польши, расширения Австрии вплоть до Крыма, возведения эрнестинской линии на саксонский королевский престол и т. п. и в которой рекомендовалось, чтобы Пруссия содействовала осуществлению этой программы. Одновременно Бунзен сообщил в Берлин, что английское правительство не возражает против присоединения приэльбских герцогств к Пруссии, если последняя примкнет к западным державам; в Лондоне же он дал понять, что прусское правительство согласно на это при условии означенной компенсации. Оба эти заявления были сделаны Бунзеном без всяких на то полномочий. Король, когда это дошло до него, нашел, при всей своей любви к Бунзену, что дело зашло уж слишком далеко, и через Мантейфеля приказал Бунзену уйти в долгосрочный отпуск, закончившийся отставкой. В биографии Бунзена, изданной его семьей, эта докладная записка перепечатана с изъятием наиболее одиозных мест, но без указания пропусков, а его официальная переписка, доведенная до момента ухода в отпуск, воспроизведена в одностороннем освещении. Попавшее в печать в 1882 г. письмо принца Альберта к барону фон Штокмару, в котором «падение Бунзена» объясняется русской интригой, а поведение короля оценивается очень отрицательно, послужило поводом к опубликованию полного текста докладной записки и к документальному, хотя все же довольно осторожному, изложению истинного хода дела («Deutsche Revue», 1882, S. 152).

В планы расчленения России принца Прусского не посвящали. Каким образом удалось заручиться сочувствием враждебному России повороту со стороны принца, проявлявшего до 1848 г. свои сомнения против либеральной и национальной политики короля лишь в границах почтительного отношения и подчинения брату, и как удалось довести его до довольно активной оппозиции политике правительства, выяснилось из беседы, которую я имел с ним во время одного из кризисов, когда король вызвал меня в Берлин, чтобы я оказал ему поддержку против Мантейфеля. Тотчас по приезде я был вызван к принцу, который под влиянием своего окружения был в возбужденном состоянии и выразил пожелание, чтобы я воздействовал на короля

в антирусском и западническом духе. Он сказал мне: «Вы увидите тут два враждебных течения, из коих одно представлено Мантейфелем, а другое, дружественное России, – Герлахом и графом Мюнстером в Петербурге. Вы здесь свежий человек; король призывает вас в качестве своего рода арбитра. Ваше мнение будет поэтому решающим, и я заклинаю вас, высказаться так, как того требуют не только европейская ситуация, но и истинные интересы дружбы к России. Она востала против себя всю Европу и будет в конце концов побеждена». – «Все эти великолепные войска, – говорилось это после неудачного для русских исхода боев под Севастополем, – все наши друзья, погибшие там, – он назвал ряд имен, – были бы еще в живых, если бы мы должным образом вмешались и вынудили Россию к миру». Дело кончилось тем, указывал он, что Россия, наш старинный друг и союзник, будет уничтожена или серьезно ослаблена. Задача, возложенная на нас провидением, заключается в том, чтобы продиктовать мир и спасти нашего друга хотя бы против его воли.

Примерно в таком приемлемом для принца свете Гольц, Альберт Пурталес и Узедом представили ему враждебную России роль, которую они отводили Пруссии, исходя из своей политики, рассчитанной на свержение Мантейфеля, и используя, по-видимому, антипатию к России супруги принца.

Желая избавить принца от этих навязанных ему идей, я стал доказывать, что мы сами не имеем абсолютно никакой причины воевать с Россией и что у нас нет в восточном вопросе никаких интересов, которые оправдывали бы такую войну или хотя бы необходимость принести в жертву наши давние дружеские отношения к России. Наоборот, всякая победоносная война против России при нашем – ее соседа – участии вызовет не только постоянное стремление к реваншу со стороны России за нападение на нее без нашего собственного основания к войне, но одновременно поставит перед нами и весьма рискованную задачу, а именно – решение польского вопроса в сколько-нибудь приемлемой для Пруссии форме. А раз наши собственные интересы не только отнюдь *не требуют* разрыва с Россией, но скорее даже говорят *против* этого, то, напад на постоянного соседа, до сих пор являющегося нашим другом, не будучи к тому спровоцированы, мы сделаем это либо из страха перед Францией, либо в угоду Англии и Австрии. Мы взяли бы на себя роль индийского вассального князя, который обязан вести под английским патронатом английские войны, или роль корпуса Йорка в начале войны 1812 г., когда обоснованный в то время страх перед Францией заставил нас быть ее покорным союзником.

Принца оскорбило употребленное мною выражение; покраснев от гнева, он прервал меня словами: «О вассалах и страхе не может быть и речи». Тем не менее он не прекратил беседы. Кто однажды снискал его доверие и благосклонность, мог очень свободно говорить ему неприятные вещи и даже в резкой форме. Я понял, что мне не удалось поколебать убеждения, которое принц составил себе под домашним, английским и Бетман-Гольвега влиянием. Влияние на него партии Бетман-Гольвега я, пожалуй, преодолел бы, но преодолеть влияние принцессы я был не в состоянии.

Во время Крымской войны и, сколько мне помнится, именно в связи с ней стало известно о давно практиковавшейся краже депеш. Один обедневший полицейский агент несколькими годами ранее доказал свою ловкость тем, что он, в бытность графа Брессона французским посланником в Берлине, переплыл ночью реку Шпрее, прокрался в виллу графа в Моабите и списал его бумаги. Теперь он получил от министра Мантейфеля поручение найти при посредстве подкупленных слуг доступ к папкам, в которых хранились входящие депеши и переписка между королем, Герлахом и Нибуром по поводу депеш. Он должен был снимать с этих документов копии. Оплачиваемый Мантейфелем с чисто прусской скарелностью, этот агент искал случая реализовать еще как-нибудь плоды своих усилий и при посредстве другого агента, Гассенкруга, нашел такую возможность сперва у французского посланника Мустье, а затем и у других лиц.

К числу клиентов этого агента принадлежал, между прочим, и полицей-президент фон Гинкельдей. Он явился однажды к генералу фон Герлаху с копией письма, в котором тот писал кому-то, по всей вероятности, Нибуру: «Теперь, когда король находится в Штольценфельсе, туда понаехали такие-то и такие-то, в том числе и Гинкельдей, – в Библии сказано: где падаль, туда слетаются и орлы; а тут можно было бы сказать: где орел, там и падаль». Гинкельдей потребовал у генерала объяснения, а на вопрос, как попало к нему это письмо, ответил: «Это письмо обошлось мне в 30 талеров». – «Какая расточительность! – воскликнул Герлах, – за 30 талеров я написал бы вам десять таких писем!»

IV

Дополнением к моим официальным высказываниям по поводу участия Пруссии в парижских мирных переговорах («Preussen im Bundestage», Theil II, S. 312–317, 337–339, 350) служит следующее мое письмо к Герлаху:

«Франкфурт, 11 февраля 1856 г.

Я все еще надеялся, что мы займем более твердую позицию прежде, нежели решатся пригласить нас к участию в заседаниях конференции, и что с этой позиции мы не сойдем, если этого приглашения совсем не последует. По моему мнению, это было единственным способом добиться, чтобы привлекли нас. Но, судя по инструкциям, полученным мною вчера, мы готовы d'emblee [сразу] пойти с теми или иными оговорками и на такую формулировку, которая обяжет нас и Союз к соблюдению прелиминарных условий. Если удастся заручиться таким согласием с нашей стороны, в то время как даже западные державы и Австрия подписали еще только projet [проект] прелиминарных условий [мира], то зачем же еще станут возиться с нами на конференциях; скорее просто по своему усмотрению используют в нашем отсутствии, как заблагорассудится, данное нами и прочими союзными государствами в сейме согласие присоединиться. Они будут уверены, что стоит только потребовать, и мы поддадимся. Мы слишком добры для этого мира. Мне не подобает критиковать решения его величества и моего начальника, раз они уже приняты (12 февраля), но все мое существо помимо воли протестует против этого; по получении этой инструкции, давшей сигнал к отступлению, у меня целые сутки были непрерывные приступы желчной рвоты, и небольшая лихорадка не оставляет меня ни на мгновение. Мое физическое и душевное состояние я могу сравнить лишь с тем, что я испытывал весной 1848 г.; чем более я обдумываю положение дел, тем менее нахожу я что-либо такое, что могло бы восстановить мое прусское чувство чести. Дней восемь тому назад все казалось мне еще непоколебимо прочным, и я сам просил Мантейфеля предоставить Австрии выбор между двумя приемлемыми для нас предложениями, но мне и в голову не приходило, что граф Буоль отвергнет оба эти предложения и даже предпишет нам ответ, который мы должны дать на его же предложение. Я надеялся, что, каков бы в конце концов ни был наш ответ, мы все же не дадим себя поймать до тех пор, пока наше участие в заседаниях не будет делом решенным. В каком же положении оказываемся мы теперь? За два года Австрия четыре раза провела с нами одну и ту же игру: она требовала, чтобы мы уступили все наши позиции, а мы после некоторого сопротивления уступали половину или около этого. Но теперь дело идет уже о последнем квадратном футе, на котором Пруссия может еще как-нибудь закрепиться. Успех сделал Австрию заносчивой, и она требует теперь не только, чтобы мы, называющие себя великой державой и претендующие на дуалистическое равноправие, принесли ей в жертву этот остаток нашего независимого положения, – она даже предписывает нам, в каких именно выражениях мы должны отречься, торопит нас до неприличия, часами отмеряя сроки, и отказывает нам в какой бы то ни было компенсации, которая могла бы залечить наши раны. Мы не решаемся настаивать даже на малейшей поправке в заявлении, которое она предписывает

сделать Пруссии и Германии. Пффордтен обдѣлывает это дело с Австрией, полагая, что заранее можно рассчитывать на согласие Пруссии и что коль скоро Бавария скажет свое слово, то это будет для Пруссии *res judicata* [дело решенное]. Последние два года при подобных же обстоятельствах мы по крайней мере на первых порах предъявляли немецким дворам свою прусскую программу, и ни один из них не принимал окончательного решения прежде, чем *мы* не приходили к соглашению с Австрией. А сейчас Бавария договаривается с Австрией, а мы присоединяемся в общей куче с Дармштадтом и Ольденбургом. Тем самым мы уступаем все, чего бы от нас пока ни потребовали. Как только Австрия будет иметь в кармане постановление сейма, включая голос Пруссии, мы тотчас же увидим, как Буоль, с прискорбием пожимая плечами, заговорит о невозможности преодолеть возражения западных держав против того, чтобы мы были допущены [на конгресс]. На поддержку России в этом случае мы, насколько я понимаю, рассчитывать не можем, ибо русским придется вполне по вкусу то разочарование, которое у нас неизбежно создастся, когда мы должны будем отдать последние остатки самостоятельной политики за входной билет на заседания [конгресса]. Кроме того, русские явно больше опасаются того, что мы в роли «посредника» поддержим политику их противников, нежели рассчитывают на какое-либо содействие с нашей стороны на конгрессе. Несмотря на всю дипломатическую хитрость Бруннова, мои беседы с ним и петербургские письма, которые я видел, не оставляют в этом ни малейшего сомнения.

Единственным средством добиться участия в заседаниях было и будет воздержание от всяких заявлений по поводу представленного Австрией проекта. Что им за охота спорить еще на конгрессе с Пруссией, когда решение Союзного сейма будет у них в кармане, а вместе с ним и мы сами. Австрия уж сумеет истолковать это решение, если нас там не будет. Из австрийской правительственной прессы и из поведения Рехберга явствует, что Австрия и теперь уже строго ограничивает статью V⁸ жалкую оговорку, сделанную к австро-баварскому проекту. В отношении *conditions particulieres* [специальных оговорок], которые будут выставлены *воюющими* державами, нам и Союзу предоставляется свобода суждений, но отнюдь *не* в отношении условий, предъявляемых Австрией; что же касается истолкования четырех пунктов, то предполагается, что Пруссия и вся Германия заранее присоединятся к мнению Австрии, представляющей их в качестве державы-покровительницы; это предположение находит свое оправдание в том, что оговорка, которой мы *домогались* в связи с этим ранее, была отклонена Баварией и Австрией, и мы на этом успокоились.

Все эти расчеты мы расстроим, отказавшись здесь высказываться до тех пор, пока мы сами не сочтем своевременным. Пока мы будем держать себя так, в нас еще будут нуждаться и будут стараться завербовать нас на свою сторону. Вряд ли здесь сделают попытку произвести на нас давление большинством голосов; даже Саксония и Бавария присоединяются к нынешнему австрийскому проекту, лишь «предполагая» наше согласие. Они уже привыкли к тому, что мы уступаем в конце концов, поэтому они и позволяют себе [делать] подобные предположения. Если же у нас хватит смелости настаивать на своем мнении, то, вероятно, сочтут нужным выждать заявления Пруссии, прежде чем решать вопросы немецкой политики. Если мы будем твердо настаивать на отсрочке решения и заявим о том немецким дворам, то на нашей стороне еще и теперь останется изрядное большинство, хотя бы даже Саксония и Бавария полностью продались Буолю, чего, однако, не случится.

Если мы не будем настаивать на этом, то должны быть готовы и к тому, что Сардиния и Турция будут самостоятельно обсуждать в Париже вопрос об ограждении германских интересов по обоим пунктам, принятым Союзом, между тем как за нас будет говорить Австрия. Мы

⁸ «Les puissances belligerantes reservent le droit qui leur appartient de produire dans un interet europeen des conditions particulieres en sus des quatre conditions» [«Воюющие державы сохраняют за собой принадлежащее им право вносить, исходя из европейских интересов, специальные оговорки сверх четырех условий».]

не будем даже среди первых в свите Австрии, ибо граф Буоль, действуя якобы по полномочию Германии, посоветуется скорее с Пфортеном и Бейстом, нежели с Мантейфелем, которого лично ненавидит, а коль скоро ему удастся привлечь на свою сторону Саксонию и Баварию, он будет считаться с противодействием Пруссии еще менее *после* решения сейма, нежели до того.

Не следует ли решительно предпочесть подобным возможностям, чтобы мы в качестве европейской державы вели переговоры о нашем участии непосредственно с Францией и Англией, а не добивались этого, как лицо не *sui juris* [юридически правомочное], под опекой Австрии и не оказывались на конференции всего лишь одной из стрел в колчане Буоля?..

ф. Б.»

Впечатление, что и формально и по существу Австрия третировала нас, нашедшее свое выражение в приведенном письме, и убеждение, что мы не должны терпеть этого пренебрежительного обращения, не осталось без влияния на позднейшее развитие прусско-австрийских отношений.

Глава шестая Сан-Суси и Кобленц

Записки королю и принцу Прусскому, к которым фракция Гольца прибегала как к орудию борьбы против Мантейфеля, предоставляя затем прессе и иностранным дипломатам использовать их, оказали свое влияние на принца. В этом я, между прочим, убедился, когда случайно обнаружил, что он разделяет теорию Гакстгаузена о трех зонах.

Еще сильнее политических доводов бетман-гольвегской клики было влияние на принца его супруги в духе преклонения перед западными державами, вызывавшее у него своего рода оппозицию к брату, чуждую по существу его инстинктам военного. Принцесса Августа с юных лет, проведенных ею в Веймаре, и до конца жизни сохранила убеждение, что выдающиеся личности и авторитеты Франции, а тем более Англии, выше наших, немецких. В этом она была чистокровной немкой с присущим нам национальным свойством, наиболее резко выраженным в поговорке «Das ist nicht weit her, taugt also nichts» [«Что свое, то гнило»]. Несмотря на Гете, Шиллера и другие великие тени Елисейских полей Веймара, эта выдающаяся по своему духовному уровню резиденция не была свободна от предрассудка, тяготеющего до сих пор над нашим национальным чувством, будто любой француз и уж во всяком случае англичанин в силу своего происхождения и своей национальной принадлежности – существо высшего порядка по сравнению с немцем и будто похвала со стороны общественного мнения Парижа и Лондона – более убедительное доказательство наших достоинств, нежели наше собственное самосознание. Императрица Августа при всей своей духовной одаренности, при том признании, каким она пользовалась у нас за проникнутую чувством долга деятельность на различных поприщах, никогда не могла вполне отрешиться от этого предрассудка; ей импонировал развязный француз с его бойкой французской речью⁹, а любой англичанин мог, как правило, рассчитывать, что с ним обойдутся в Германии, как со знатной особой, поскольку не доказано противное. Так повелось в Веймаре лет 70 тому назад, и с отголоском этого мне довольно часто приходилось сталкиваться в моей служебной деятельности. В то время, о котором идет речь, хлопоты принцессы Прусской об английском браке ее сына, вероятно, еще более укрепляли ее во взглядах, которые Гольц и его друзья старались навязать ее супругу.

Во время Крымской войны обнаружилась антипатия принцессы ко всему русскому, укоренившаяся в ней с детства, но ранее внешне не проявлявшаяся. На балах при дворе Фридриха-Вильгельма III, где я впервые увидел ее – молодую и красивую женщину, она при выборе кавалеров во время танцев отдавала обычно предпочтение дипломатам, не исключая и русских, причем заставляла пробовать свою ловкость на скользком паркете даже тех из них, кто был искуснее в беседе, нежели в танцах. Ту явную и сильную антипатию к России, которую она выказывала впоследствии, психологически не легко объяснить. Воспоминание об убийстве ее деда, императора Павла, едва ли могло бы иметь столь длительное влияние. Это было скорее следствием разлада между высокоодаренной, русской по своему общественному и политическому облику, матерью, великой герцогиней Веймарской, окруженной приезжими русскими, и взрослой дочерью, склонной при ее живом темпераменте играть первую роль в своем кругу; возможна и своего рода идиосинкразия по отношению к властной личности императора Николая. Несомненно одно: антирусское влияние этой высочайшей особы и впоследствии, когда она была королевой и императрицей, нередко препятствовало мне у его величества при проведении той политики, которую я считал необходимой.

⁹ Ее теща (Жерара) считали французским шпионом!

Существенную поддержку бетман-гольвегской фракции оказывал господин фон Шлейниц, доверенное лицо принцессы по политической части. К борьбе против Мантейфеля его в свою очередь побуждало озлобление за то, что он был смещен, по служебным соображениям, с видного ганноверского поста, на котором не проявил, однако, особого усердия; смещен он был при таких обстоятельствах, что его жалование посланника, находящегося в резерве, было выплачено ему задним числом лишь после того, как он стал министром. Сын брауншвейгского министра и профессиональный дипломат, избалованный придворной жизнью и внешними преимуществами службы по иностранному ведомству, не обладающий состоянием, обиженный по службе, но в милости у принцессы, он, естественно, был желанным союзником для противников Мантейфеля и с готовностью примкнул к ним. Он был первым министром иностранных дел «новой эры»; смерть застала его на посту министра двора императрицы Августы.

За завтраком принцесса делала целый доклад своему супругу, подкрепляя свое мнение письмами и газетными статьями, составленными иной раз *ad hoc* [для этой цели], и такой заведенный *принцем* обычай сохранил и *император* Вильгельм. Когда я позволял себе при случае намекнуть, что некоторые из этих писем могли быть изготовлены и добыты по распоряжению королевы господином фон Шлейницем, я встречал резкий отпор. Король, как истый рыцарь, неизменно вступался за свою супругу и тогда, когда все данные были явно против нее. Он как бы запрещал верить чему-либо подобному, даже если бы это и была правда.

Я никогда не считал задачей посланника, аккредитованного при дружественном дворе, сообщать своему правительству всякую мелочь, могущую вызвать неудовольствие, тем более – из Петербурга, где я был удостоен такого доверия, какое полагал бы рискованным оказывать иностранным дипломатам в Берлине. При тогдашней, да и вообще, как правило, антирусской политике королевы всякое сообщение, способное возбудить неприязнь между нами и Россией, могло быть использовано для ослабления наших русских связей, – будь то из антипатии к России и из-за преходящих соображений популярности, будь то из доброжелательства к Англии и предположения, что такое доброжелательное отношение к Англии и даже к Франции свидетельствует о более высокой ступени цивилизации и образования, нежели доброжелательство по отношению к России.

Когда в 1849 г. принц Прусский перенес в качестве губернатора Рейнской провинции свою постоянную резиденцию в Кобленц, взаимоотношения дворов Сан-Суси и Кобленца вылились мало-помалу в форму тайной вражды, в развитии которой и с королевской стороны играл известную роль женский элемент, хотя все же не в такой мере, как со стороны принца. Влияние королевы Елизаветы в пользу Австрии, Баварии, Саксонии было непосредственным и неприкрытым и являлось результатом солидарности, естественно вытекавшей из совпадения взглядов и из родственных, фамильных симпатий. Между королевой и министром фон Мантейфелем не было никаких личных симпатий, что уже само по себе вытекало из различия их темпераментов, тем не менее оба они нередко, особенно в критические моменты, одинаково влияли на короля в направлении австрийских интересов; впрочем, что касается королевы, то лишь в тех пределах, которые диктовались ей в решающие минуты интересами венценосного супруга, как она их понимала в качестве супруги и государыни. Забота о престиже короля проявлялась у нее именно в критические моменты, правда, не столько в виде поощрения короля к действию, сколько в свойственной женщине робости перед выводами из ее собственных воззрений и вытекавшем отсюда воздержании от дальнейшего влияния.

У принцессы за время пребывания в Кобленце развилась еще одна наклонность, которая отразилась на ее политической деятельности и сохранилась до конца ее дней.

Католицизм, чуждый кругу представлений Северной Германии и особенно небольшого городка в центре чисто протестантского населения, заключал в себе нечто притягательное для государыни, которую вообще больше интересовало иноземное, нежели свое близлежащее, повседневное, близкое. Католический епископ казался ей более знатным, нежели гене-

рал-суперинтендент. Известная благосклонность к католицизму, которая замечалась в ней и ранее и отразилась, например, на подборе мужского персонала ее двора и прислуги, окончательно укрепилась благодаря ее пребыванию в Кобленце. Принцесса привыкла считать себя призванной защищать местные интересы искони подвластного епископскому посоху края и его духовенства. Современное конфессиональное самосознание на основе исторической традиции, нередко приводившее у принца к резким проявлениям протестантских симпатий, было чуждо его супруге. Каким успехом увенчались ее старания достигнуть популярности в Рейнской области, можно судить между прочим по письму графа фон дер Рекке-Фольмерштейна, писавшего мне 9 октября 1863 г., что благомыслящие люди на Рейне советуют королю не приезжать на торжество закладки собора, а послать ее величество, «которая будет встречена с энтузиазмом». С какой энергией она отстаивала пожелания католического духовенства, показывает такой пример: при постройке так называемой Мецской железной дороги одно католическое кладбище могло оказаться задетым намеченным направлением линии; против этого выступило духовенство и было настолько успешно поддержано императрицей, что направление железной дороги было изменено и пришлось предпринять *ad hoc* сложные строительные работы.

27 октября 1877 г. статс-секретарь фон Бюлов писал мне, что императрица просила министра Фалька выдать деньги на путевые издержки одному художнику-ультрамонтану, который не только сам не хочет просить об этом, но кроме того еще и занят живописью во славу Марпингена. 25 января 1878 г. фон Бюлов писал мне: «Перед отъездом кронпринца [в Италию] у него произошла бурная сцена с императрицей, которая требовала, чтобы он, как будущий государь восьми миллионов католиков, посетил его святейшество престарелого папу. Когда по возвращении кронпринц явился к императору, императрица также спустилась [из своих покоев]. Но когда разговор, коснувшись позиции короля Умберто, принял оборот, который ей не понравился и на этом оборвался, она поднялась со словами: «Il paraît que je suis de trop ici» [«Кажется, я здесь лишняя»]. Император сказал потом кронпринцу с грустью: «В этих делах твоя мать сейчас опять невменяема».

К посторонним влияниям, осложнявшим эту дворцовую борьбу, надлежит отнести также и недоразумения между принцессой и обер-президентом фон-Клейст-Рецовым, который занимал нижний этаж дворца, под апартаментами принца; все в нем претило принцессе – и его внешний облик, и то, что он был оратором крайней правой, и, наконец, его деревенский обычай ежедневных молитв с песнопениями в кругу своих домашних. Обер-президент привык скорей к служебным, чем к придворным взаимоотношениям, и рассматривал свою жизнь во дворце с прилежавшим к нему садом, как защиту королевских прерогатив в противовес мерещившимся ему излишества в домоводстве принца; он искренно полагал, что поступил бы интересами короля, своего повелителя, если бы не отстаивал со всей энергией перед супругой наследника свои обер-президентские претензии в отношении хозяйственного использования дворцовых помещений против притязаний двора наследного принца.

Начальником генерального штаба в Сан-Суси после смерти генерала Рауха был Леопольд фон Герлах, а его помощниками, но иногда и соперниками – советник кабинета Нибур и Эдвин фон Мантейфель, а во время Крымской войны – также и граф Мюнстер. К придворной камерилье следовало, кроме того, отнести также графа Антона Штольберга, графа Фридриха цу Дона и графа фон дер Гребена.

Твердым и умным защитником государственных интересов, в противовес вредным женским влияниям, являлся при дворе принца Густав фон Альвенслебен, старавшийся по мере сил примирить оба двора, хотя он и не был согласен с политическими мероприятиями правительства. Он разделял мое мнение о необходимости решить вопрос прусско-австрийского соперничества на поле битвы, ибо иного решения быть не могло. Он, командир четвертого корпуса при Бомоне и Седане, и его брат Константин, чьи самостоятельно принятые решения у Вионвиля и Мар ла Тура задержали перед Мецом французскую рейнскую армию, были образ-

цовыми генералами. Когда я спросил при случае, каким может быть, по его мнению, исход первого генерального сражения между нами и австрийцами, он ответил: «Мы так ударим, что они ноги задерут». И его уверенность придала мне духу принять трудные решения в 1864 и 1866 гг. Антагонизм между влиянием, которое оказывал на принца Альвенслебен, руководимый исключительно государственными и патриотическими соображениями, и влиянием принцессы доводил Альвенслебена подчас до такого волнения, что он изливал его в словах, которые я не хочу повторять; все возмущение солдата-патриота против политиканствующих дам выражалось в форме, граничащей с уголовно-наказуемым деянием. То обстоятельство, что принц держал при себе такого адъютанта в противовес своей супруге, вытекало из особенности, сохраненной им и тогда, когда он стал королем и императором: для верных слуг он был верным господином.

Глава седьмая

В пути между Франкфуртом и Берлином

I

Отчуждение между министром Мантейфелем и мною, возникшее после моей венской миссии и в результате наушничества Кленце и пр., повело к тому, что король все чаще вызывал меня [в Берлин] для «устрашения» министра, когда тот не хотел уступать ему. Путешествуя между Франкфуртом и Берлином через Гунтерсгаузен, я проехал за год тысячи две миль; в пути я непрерывно курил одну сигару за другой или проводил время в крепком сне. Король не только спрашивал мое мнение по вопросам германской и внешней политики, но и, случалось, поручал мне, когда ему представлялись проекты министерством иностранных дел, составлять контрпроекты. Относительно этих поручений и предлагавшейся мною редакции я совещался затем с Мантейфелем, который, как правило, уклонялся от внесения каких-либо изменений, хотя наши политические взгляды и расходились. Он скорее склонен был угождать западным державам и идти навстречу пожеланиям Австрии, тогда как, не будучи защитником русской политики, я не видел, оснований ставить под угрозу наши давнишние мирные отношения с Россией ради каких бы то ни было непрусских интересов и считал возможное выступление Пруссии против России во имя чуждых нам интересов доказательством нашего страха перед западными державами и смиренной почтительности по отношению к Англии. Мантейфель не хотел еще больше раздражать короля, настаивая на своих взглядах; но не хотел и поддержкой моей якобы русской ориентации раздражать западные державы и Австрию; он предпочитал стусываться. Маркиз Мустье знал об этой позиции, и мой шеф оставил на его долю задачу обратиться ко мне при случае на путь западнической политики и ее защиты перед королем. Во время одного моего посещения Мустье у него, в силу его живого темперамента, вырвалось такое угрожающее заявление: «La politique que vous faites, va vous conduire a Jena» [«Ваша политика приведет вас к Иене»]. – «Pourquoi pas a Leipsic ou a Rosbach?» [«Почему же не к Лейпцигу или Росбаху?»], – ответил я. Мустье не привык, чтобы в Берлине с ним говорили таким независимым тоном, он не знал, что ответить, и побледнел от гнева. После некоторого молчания я прибавил: «Enfin, toute nation a perdu et gagne des batailles. Je ne suis pas venu pour faire avec vous un cours d'histoire» [«В конце концов всякая нация проигрывала и выигрывала сражения. Я приехал сюда не для того, чтобы изучать с вами историю»]. Разговор больше не клеился. Мустье пожаловался на меня Мантейфелю, а тот передал жалобу королю. Но король похвалил меня, сказав Мантейфелю, а потом и непосредственно мне, что я ответил французу правильно.

Наиболее способные деятели бетман-гольвегской партии, Гольц, Пурталес, иногда и Узедом, приобрели при содействии принца Прусского известное влияние на короля. Некоторые срочные депеши составлялись не Мантейфелем, а графом Альбертом Пурталесом; король давал их проекты на просмотр мне, я в свою очередь сносился по поводу поправок с Мантейфелем, а тот привлекал помощника статс-секретаря Ле Кока, который проверял текст исключительно с точки зрения французской стилистики и задерживал депеши по нескольку дней, ссылаясь на то, что он еще не нашел вполне подходящего французского выражения – точного оттенка между темным, неясным, сомнительным и рискованным, как будто суть дела была тогда в подобных пустяках.

II

Я старался в подобающей форме уклониться от роли, которую навязывал мне король, и добиться по мере возможности соглашения между ним и Мантейфелем; так было и при серьезной размолвке, возникшей по поводу Рино Квеля. После того как восстановление Союзного сейма временно затормозило осуществление особых национальных устремлений Пруссии, в Берлине приступили к реставрации внутренних порядков, с чем король до тех пор медлил, не желая отпугнуть либералов в прочих немецких государствах. Однако в вопросе о цели и способах проведения этой реставрации тотчас же обнаружилось расхождение во взглядах между министром Мантейфелем и «небольшой, но могущественной партией». Это расхождение, как ни странно, остро обнаружилось в споре – оставить или устранить одно сравнительно второстепенное лицо – и повело к открытой и бурной вспышке борьбы. В том же письме от 11 июля 1851 г., которым Мантейфель ставил меня в известность о моем назначении посланником при Союзном сейме, он сообщал:

«Что касается наших внутренних дел, а именно сословных отношений, то дело шло бы вполне сносно, если бы люди вели себя при этом с большим чувством меры и с большим искусством. Вестфален в этом отношении превосходит, я ценю его очень высоко, и по существу мы с ним держимся одних взглядов. Ключов, видно, не очень-то владеет пером, – со стороны формы безусловно имелись кое-какие промахи, которых можно было избежать. Куда хуже позиция, занятая в этом вопросе «*Kreuzzeitung*». Она не только выражает свое торжество в неуклюжей, вызывающей форме, но еще и толкает на крайности, которые, вероятно, ей самой пришлось бы не по вкусу. Если бы, например, оказалось возможным и удалось восстановить *riges* [в чистом виде] Соединенный ландтаг со всеми вытекающими отсюда последствиями, – а ведь дальше идти немисливо, – что было бы этим выиграно? Я нахожу, что позиция правительства куда выгоднее, когда оно оставляет вопрос как бы открытым, пока не выяснилась необходимость коренного, органического преобразования. Я высказываю надежду и пожелание, что в этом случае удастся вернуться от провинциальных чинов (*Provinzial-Stände*) к общинным чинам (*Kommunal-Stände*), придерживаясь старых исторических разграничений, следы которых еще не стерлись и в Рейнской провинции, а во всех старых провинциях еще очень явственны, и что отсюда и выйдет представительство страны. Но такие вещи не делаются наскоком, во всяком случае не обходятся без серьезных столкновений, и их все же есть основание избегать. А вот «*Kreuzzeitung*» форменным образом объявила мне войну и в знак моей покорности требует отставки Квеля, не учитывая того, что если бы даже я и решил пожертвовать усердным и самоотверженным человеком, – что вовсе не входит в мои намерения, – то все же при таких обстоятельствах я этого никак не мог бы сделать».



Берлин. Вид на здание Шлосфрайхайт. 1840-е годы. Худ. Э. Гартнер



Так выглядело типичное юнкерское поместье (*Имение Поммерн. Середина XIX в.*)

Рино Квель был журналистом, через посредство которого Мантейфель еще во времена Эрфуртского парламента защищал в прессе свою политику, человеком, носившимся со всякими идеями и начинаниями, правильными и ложными, искусно владевшим пером, но непомерно обремененным ипотекой тщеславия. Дальнейшее развитие конфликта между Мантей-

фелем и Квелем, с одной стороны, «Kreuzzeitung» и камарильей – с другой, а также вся сложившаяся тогда внутренняя ситуация ясно видны из приводимых ниже высказываний Герлаха в письмах.

«Потсдам, 17 мая 1852 г.

Если Мантейфель не прогонит Квеля, это добром не кончится... Я считаю Мантейфеля честным человеком, но как странно сложилась его политическая жизнь. Он подписал декабрьскую конституцию, высказался за политику унии, решительно проводил в жизнь положение об общинном устройстве и закон о выкупе, амнистировал бонапартизм и т. д. Во всем этом он не был последовательным, что следует поставить ему в заслугу; хотя его величество сказал как-то, что последовательность – презреннейшая из всех добродетелей, но все же непоследовательность Мантейфеля бьет уже через край. Высказываются против палат и против конституционализма. Однако начиная с середины XVIII столетия до настоящего времени все правительства были революционными, за исключением Англии с ее палатами до реформы и Пруссии с небольшими перерывами в 1823 и 1847 гг. «Kreuzzeitung» поистине не так уж неправа в своей скромной апологии палат, и тем не менее наш премьер тоскует по бонапартизму, который уже, безусловно, никакой будущности не имеет.

Между прочим Мантейфель сказал вчера, что хочет вызвать вас сюда, если только вы успеете еще вовремя прибыть, чтобы познакомиться с императором и графом Нессельроде. Но самое важное, это чтобы вы избавили Мантейфеля от Квеля, потому что сам он пока еще необходим, а вместе с Квелем неприемлем. Ему ничего не стоит заявить, что он знать не знает об этой статье в «Zeit» и вообще никакого отношения к «Zeit» не имеет, но этим все же не отделаешься, поскольку и Тиле (редактор) – ставленник Квеля и Мантейфеля. Я опасуюсь также абсолютистских поползновений Мантейфеля-младшего».

«19 мая 1852 г.

В результате газетной статьи, о которой идет речь в вашем последнем письме ко мне, на Мантейфеля снова было оказано с разных сторон давление, чтобы убедить его расстаться с Квелем. Я не принимал в этом участия, ибо однажды уже поссорился с ним из-за этого человека, и тогда мы заключили своего рода соглашение – не касаться больше этой темы. Но вчера Мантейфель сам завел со мной разговор, решительнейшим образом защищал Квеля, заявил, что скорее подаст в отставку, нежели согласится расстаться с ним, выражал, не скрывая, свою ненависть к «Kreuzzeitung» и допустил, кроме того, несколько рискованные выражения о действиях министерства внутренних дел и о некоторых одинаково дорогих для нас лицах».

«Сан-Суси, 21 июля 1852 г.

Только что получил ваше письмо из Офен-Франкфурта от 25 июня и 19 июля, начало которого так же интересно, как и конец. Однако вы требуете от меня невозможного. Вы хотите, чтобы я разъяснил вам здешнее положение дел, которое так запутано и представляет собой такую неразбериху, что его даже на месте никак не поймешь. Выступление Вагенера против Мантейфеля не может быть оправдано, если только он не хочет совершенно изолировать себя от партии. Такая газета, как «Kreuzzeitung», может выступать против премьер-министра лишь в том случае, если вся ее партия переходит в оппозицию, как это было при Радовице... Такое положение *bellum omnium contra omnes* [войны всех против всех] не может быть терпимо. Вагнер *volens nolens* [волей-неволей] должен будет спеться с газетой «Preussisches Wochenblatt», а это было бы уже большой бедой; Гинкельдей и Мантейфель-младший, обычно такие непримиримые враги, объединяются против «Kreuzzeitung», словно Ирод и Пилат против Христа. Но больше всего меня огорчает министр Мантейфель, которого едва можно вытерпеть, но все же приходится оставлять на посту, ибо его предполагаемые преемники просто ужасны. Все вопят,

чтобы он уволил Квеля. Я думаю, что от этого пользы будет мало. Возможный преемник Квеля, [Константин] Ф[ранц], пожалуй, еще хуже. Если Мантейфель не решится пойти на соглашение с приличными людьми, пусть пеняет на себя...»

«Сан-Суси, 8 октября 1852 г.

...Я воспользовался странным поведением Мантейфеля в отношении его креатур, я воспользовался назначением Радовица, чтобы откровенно поговорить с Мантейфелем, но из этого ничего не вышло. Я сказал ему, что не принадлежу к тем, которые хотят погубить Квеля, но что ему, Мантейфелю, следует все-таки сблизиться с порядочными людьми и сообщая с ними укрепить свое положение. Но тщетно. Сейчас он опять якшается с бонапартистом Францем. Не хочу оправдывать то, что делает Вагенер, особенно его упрямое нежелание слушать чьи-либо советы и предупреждения, но он прав в том, что Мантейфель разрушает консервативную партию и доводит его, Вагенера, до крайности. Ведь это удивительная вещь, что «Kreuzzeitung» оказалась единственной газетой в Германии, которую, преследуют и конфискуют. О том, что во всем этом деле меня особенно волнует, – о влиянии такого положения вещей на е[го] в[еличество], мне не хочется и говорить. Обдумайте же, какими бы способами привлечь людей, которые укрепили бы министерство. Приезжайте сюда еще разок и посмотрите сами, что делается...»

«Шарлоттенбург, 25 февраля 1853 г.

...Я, наконец, обратил внимание е[го] в[еличества] на то, как все-таки нехорошо получилось бы, если бы Вагенер, рисковавший всем ради правого дела, очутился в ближайшем будущем в тюрьме, тогда как его противник Квель благодаря одной лишь *vis inertiae* [инерции] стал бы тайным советником. И Нибуру действительно удалось примирить короля с Вагенером, хотя последний остается при своем решении отказаться от редактирования «Kreuzzeitung»... Мантейфель имеет тенденцию книзу *via* [в направлении] Квель, Левинштейн и т. д., ибо сомневается в истинах, исходящих свыше, вместо того чтобы уверовать в них. Вместе с Пилатом он вопрошает: «Что есть истина?» – и ищет ее у Квеля и компании... Уже сейчас под влиянием Квеля он при всяком удобном случае пускается в прескверную скрытую и пассивную оппозицию против Вестфалена и его мероприятий, которые все же являются самыми лучшими и наиболее смелыми в нашем государственном управлении со времени 1848 г. Мантейфель терпит, когда Квель бесстыднейшим образом использует прессу против Вестфалена, Раумера и т. д., и, как меня уверяли, заставляет еще платить себе за это... Квель с его компанией доведут Мантейфеля до падения – не иначе, что я считаю несчастьем уже по той простой причине, что не вижу хоть сколько-нибудь подходящего преемника».

«Потсдам, 28 февраля 1853 г.

...Делаю все от меня зависящее, чтобы сохранить «Kreuzzeitung», или, вернее, чтобы сохранить пока Вагенера для «Kreuzzeitung». Он говорит, что не может продолжать вести это дело при интригах Квеля. Из королевских денег, которыми располагает этот субъект благодаря доверию Мантейфеля, он выдает сотрудникам Вагенера крупные гонорары и переманивает их у «Kreuzzeitung»; говорят даже, что по его предложению от [наших] посланников затребовали фамилии заграничных корреспондентов «Kreuzzeitung», чтобы и их сманить у нее...»

«20 июня 1853 г.

...Внутреннее положение мне очень не нравится. Боюсь, Квель одержит верх над Вестфаленом и Раумером уже просто потому, что Мантейфель постарается доказать королю свою незаменимость, – мнение, которое е[го] в[еличество] разделяет по соображениям и верным и неверным...»

«Шарлоттенбург, 30 июня 1853 г.

...Когда я сопоставляю различные сведения об интригах Квеля; когда учитываю, что Квель заключил своего рода соглашение с партией Гольвега, по которому Мантейфеля щадят, остальных же неугодных министров – Раумера, Вестфалена, Бодельшвинга – яростно атакуют; когда я замечаю, далее, что Мантейфелю совестно передо мной за сложившиеся у него отношения с принцем Прусским и что сейчас его сердцу ближе Нибур, нежели я, тогда как обычно он часто жаловался мне на Нибура; когда я замечаю, наконец, что этот Квель изображает принца Прусского и его сына в качестве единомышленников своих и Мантейфеля и в таком смысле высказывается (что мне известно из самого достоверного источника) и когда все это тянет в сторону Радовица (*sic!*), – то я чувствую, как почва уходит у меня из-под ног, хотя вряд ли удастся склонить короля на сторону всей этой стряпни, и мне самому все это, слава богу, довольно безразлично. Но вы, уважаемый друг, вы еще молоды, и вы должны собираться с силами и готовиться к борьбе, дабы в надлежащий момент во имя спасения страны разорвать все эти хитросплетения лжи...»

«Сан-Суси, 17 июля 1853 г.

...Перед К[велем] сейчас уже заискивают; всякие превосходительства толпятся в его передней и высиживают у него на диване. С другой стороны, я не считаю исключенным, что в один прекрасный день Мантейфель махнет рукой на Квеля, ибо благодарность не является характерной чертой этого скептически настроенного и поэтому часто впадающего в разочарование государственного деятеля. Но что получится, если Мантейфель уйдет? Подыскать министерство можно, но едва ли найдется такое, которое продержалось бы *при* е[го] в[еличестве] хотя бы *только четыре недели*. По этой причине и при том искреннем уважении и любви, которые я питаю к Мантейфелю, я не хотел бы брать на свою совесть инициативу его свержения. Подумайте обо всем этом и напишите мне...»

Вскоре после того как было написано последнее письмо, отношения между королем и Мантейфелем настолько обострились, что последний, надувшись, удалился в свое имение Дрансдорф. Дабы сделать его «послушным министром», король на сей раз решил припугнуть его не моей кандидатурой на пост министра, а поручил мне посетить в Эркслебене графа Альбрехта фон Альвенслебена, «старого пожирателя жаворонков», как король называл его, и спросить, не согласится ли он возглавить новое министерство, в котором мне поручено было бы ведомство иностранных дел. Незадолго до этого граф, весьма непочтительно отозвавшись о короле, заявил мне, что в правление е[го] в[еличества] он ни при каких обстоятельствах не вступит ни в какой кабинет. Я сказал это королю, и моя поездка отпала. Однако позже, когда вновь всплыла та же комбинация, Альвенслебен все же выразил готовность пойти на нее; но король успел уже договориться с Мантейфелем, который тем временем дал обет «слушаться». Вместо миссии в Эркслебен я по собственному почину отправился к Мантейфелю в его имение и стал убеждать его расстаться с Квелем и приступить вновь, не вступая в излишние объяснения с его величеством, к исполнению своих служебных обязанностей. Он возражал в духе своего письма от 11 июля 1851 г., что не может бросить усердного и преданно служащего ему человека. Мне показалось, что у Мантейфеля есть еще кое-какие основания щадить Квеля, и я сказал: «Уполномочьте меня избавить вас от Квеля так, чтобы дело не дошло до разрыва между вами; если это мне удастся, то вы сообщаете королю об уходе Квеля и продолжаете вести дела так, словно между вами и е[го] в[еличеством] никакой размолвки не произошло». Он с этим согласился, и мы условились, что он посоветует Квелю, который как раз в то время совершал путешествие по Франции, побывать на обратном пути у меня во Франкфурте, что тот и сделал. Я воспользовался планами короля в отношении Альвенслебена и постарался внушить Квелю,

что если он не уйдет, то окажется виновником падения своего покровителя, и порекомендовал ему, пока не поздно, использовать влияние последнего. Я сказал ему: «Куйте железо, пока горячо. Это уже недолго будет длиться», и заставил его точно указать, чего он хочет; оказалось – генерального консульства в Копенгагене со значительно повышенным окладом. Я уведомил Мантейфеля; вопрос, казалось, был исчерпан, но дело еще несколько затянулось, ибо в Берлине действовали так неумело, что возвестили об укреплении Мантейфеля еще до отставки Квеля. Последний, прибыв в Берлин, нашел свое положение и положение Мантейфеля не столь шатким, как я ему это изобразил, и стал чинить кое-какие затруднения, которые создали ему еще лучшие условия при назначении в Копенгаген.

Подобные же переговоры пришлось вести и с агентами, использованными при краже депеш во французской миссии, в том числе с Гассенкругом; последний во время судебного процесса по делу об этой краже был арестован полицией во Франции, по-видимому, с его собственного согласия, и содержался там в заключении более года, пока дело не было забыто.

Король в то время ненавидел Мантейфеля, обходился с ним уже не с обычной своей вежливостью и зло отзывался о нем. Как вообще смотрел король на должность министра, показывают его слова, сказанные о графе Альберте Пурталесе, которым он также страдал иногда Мантейфеля: «Вот кому бы быть министром у меня, если бы у него не было лишних 30 тысяч рейхсталеров дохода; в этом источник неповиновения». Если бы я стал министром при короле, мне более чем кому-либо пришлось бы испытать на себе этот взгляд, так как король смотрел на меня, как на своего питомца, и считал существеннейшим элементом в моем роялизме безусловное «повиновение». Всякое самостоятельное мнение, выраженное мною, неприятно поразило бы его; ведь уже мое упорное нежелание окончательно принять пост посланника в Вене казалось ему чуть ли не нарушением верности. Два года спустя мне пришлось в этом убедиться на опыте, который имел длительные последствия.

III

Меня вызывали в Берлин не всегда по делам внешней политики, а иной раз и в связи с вопросами, возникавшими в ландтаге, куда я был переизбран 13 октября 1851 г., после моего назначения посланником.

Когда возник вопрос о преобразовании первой палаты в палату господ, я получил следующее уведомление от Мантейфеля, помеченное 20 апреля 1852 г.:

«Бунзен все более и более разжигает у короля страсть к пэрии. Он утверждает, будто крупнейшие государственные люди Англии полагают, что в ближайшие годы континент распадется на два лагеря: а) протестантские государства с конституционной системой, опирающейся на столпы аристократии; б) католическо-иезуитско-демократическо-абсолютистские государства. К последней категории он относит Австрию, Францию и Россию. Я считаю это совершенно ошибочным. Никаких таких категорий нет. Каждое государство имеет свой собственный ход развития. Фридрих-Вильгельм I не был ни католиком, ни демократом, но все же был абсолютным монархом. Но подобные вещи производят большое впечатление на е[го] в[еличество]. Конституционную систему, провозглашающую господство большинства, я считаю не чем иным, как протестантской».

На следующий день, 21 апреля, король писал мне:

«Шарлоттенбург, 21 апреля 1852 г.

Напоминаю вам, дорогой Бисмарк, что я рассчитываю на вас и на вашу помощь при прениях, предстоящих во второй палате относительно организации первой. Тем более, что я

узнал, к сожалению, из достовернейшего источника, о грязных интригах, затеваемых сообща паршивыми овцами из правой и смердящими козлицами из левой, сознательно (?) или бессознательно (?) объединившимися для того, чтобы расстроить мои планы. Это – зрелище печальное при всех обстоятельствах, до того печальное, что «хоть волосы на себе рви», и все это на почве так дорого обошедшейся нам машины лжи французского конституционализма. Да исправит это Господь! Аминь.

Фридрих-Вильгельм».

Я написал генералу Герлаху, что я один из самых молодых среди этой группы людей. Если бы желания его величества были мне известны раньше, то, может быть, я и сумел бы оказать некоторое влияние; но прямое выполнение мною в Берлине распоряжения короля и защита его в консервативной партии обеих палат с тем, чтобы в краткий срок, в какие-нибудь два дня, пустить в ход свое влияние только в качестве королевского уполномоченного, защищающего не свои собственные взгляды, подорвали бы мое положение в парламенте, а оно может пригодиться королю и его правительству при разрешении других вопросов. Поэтому я запросил, нельзя ли мне уклониться от участия в ландтаге под предлогом исполнения возложенного на меня королем поручения о ведении переговоров с принцем Августенбургским. Я получил по телеграфу ответ – не ссылаться на августенбургское дело, а немедленно ехать в Берлин, куда я и отправился 26 апреля. Между тем в Берлине стараниями консервативной партии было принято решение, противоречившее намерениям короля; тем самым кампания, предпринятая его величеством, казалась проигранной. Явившись 27-го к генералу фон Герлаху в занимаемый им флигель в Шарлоттенбургском дворце, близ гауптвахты, я узнал от него, что король гневается на меня за то, что я не сразу выехал, считая, что если бы я тотчас же появился, то мог бы предотвратить это решение. Герлах пошел доложить обо мне королю, долго не возвращался и, наконец, пришел с ответом, что его величество не желает меня видеть, но чтобы я подождал. Противоречивое приказание прекрасно характеризовало короля: он сердит был на меня и хотел показать это отказом в аудиенции, но в то же время стремился обнадежить меня, что я могу в скором времени снова рассчитывать на его благоволение. Это был своего рода педагогический прием, подобно тому как в школе сначала выгоняют ученика из класса, а затем снова впускают. Я оказался как бы интернированным в Шарлоттенбургском дворце – положение, облегчавшееся тем, что мне подали хороший, изящно сервированный завтрак. Вне Берлина, в особенности же в Потсдаме и Шарлоттенбурге, король жил, как *grand seigneur* [вельможа] в своем поместье. Посетителя всегда угощали в замке всем, чем угодно в положенный час, а при желании – и в любое время. Хозяйство велось, правда, не на русскую ногу, но по нашим понятиям все было, безусловно, изысканно, всего было в изобилии, хотя ни в чем не замечалось расточительности.

Приблизительно через час за мною был прислан дежурный адъютант, и я был принят королем холоднее обыкновенного, но все же не столь немилостиво, как опасался. Его величество ожидал, что я явлюсь по первому зову, и рассчитывал, что мне удастся в течение 24 часов, оставшихся до голосования, повернуть консервативную фракцию, как по военной команде «кругом марш!», в том направлении, которого придерживался король. Я объяснил, что таким предположением переоценивается мое влияние на фракцию и недооценивается ее независимость, что лично я в этом вопросе не расхожусь во взглядах с королем и готов отстаивать его взгляды перед моими товарищами по фракции, если король даст мне срок и если ему угодно еще раз выразить свои пожелания в новой форме. Король, видимо, примиренный, выразил свое согласие и отпустил меня с поручением вести пропаганду в пользу его плана. Это мне удалось с большим успехом, нежели я сам ожидал; возражения против преобразования палаты имели только руководители фракции, и упорство этих возражений основывалось не на убеждении большинства, а на авторитете, которым во всякой фракции пользуются обычно ее признанные

руководители, и пользуются не без основания, ибо обычно это лучшие ораторы и единственно работоспособные, деловые люди, которые избавляют всех прочих от труда подробно вникать в текущие вопросы. Оппонента из рядов фракции, не обладающего таким же авторитетом, вождь фракции, как правило, – более находчивый оратор, умеет без особого труда так поставить на место, что у того отпадает всякая охота к оппозиции в будущем, если только он не одарен способностью не смущаться, что как раз среди тех классов, к которым большей частью принадлежат консерваторы, встречается у нас не часто.

Я застал нашу тогда многочисленную фракцию – в ней было, кажется, свыше 100 членов – всецело под влиянием политических тезисов, установленных ее руководителями. Сам я некоторым образом эмансипировался от этого влияния с тех пор, как занял во Франкфурте оборонительную позицию против Австрии, вступил, следовательно, на путь, не встречавший одобрения руководителей фракции, и хотя в данном вопросе не затрагивались наши отношения с Австрией, все же разногласие по этому поводу поколебало вообще мою веру в руководство нашей фракции. Тем не менее меня поразило, как быстро возымела действие моя plaidoyer [защитительная речь] не столько в пользу данного взгляда короля, сколько в пользу сотрудничества с ним. Руководство фракции осталось при голосовании изолированным; почти вся фракция выразила готовность следовать за королем по его пути.

Оглядываясь теперь на эти события, я думаю, что те трое или шестеро вождей, против которых я поднял консервативную фракцию, были по существу правы в своих разногласиях с королем. Первая палата была более приспособлена к разрешению задач, падающих на ее долю при конституционном строе, нежели нынешняя палата господ. Она пользовалась у населения престижем, какого палата господ до сих пор не сумела завоевать. Последняя имела возможность проявить себя политически выдающимся образом лишь во время конфликта, и, вступившись с бесстрашной преданностью за монархию, она показала в те дни, что вполне созрела для выполнения оборонительных задач верхней палаты. Можно предположить, что в критические для монархии моменты она проявит ту же отважную стойкость. Но я сомневаюсь, сумеет ли она оказать подобное же влияние, как первая палата, в смысле предупреждения подобных кризисов в мирные, на первый взгляд, времена. Когда верхняя палата становится в глазах общественного мнения органом правительственной или даже королевской политики, это свидетельствует о дефекте в конституции. Согласно прусской конституции, король со своим правительством сам по себе имеет такую же долю участия в законодательстве, как каждая из обеих палат; он не только обладает правом абсолютного вето, но и полнотой исполнительной власти, в силу чего законодательная инициатива фактически, а проведение законов также и юридически принадлежит короне. Королевская власть, сознающая свою силу и имеющая мужество применять ее, достаточно могущественна и в конституционной монархии, чтобы не нуждаться в качестве опоры в послушной палате господ. Если бы во время конфликта палата господ и присоединилась к постановлению палаты депутатов по представленному бюджету, то все же для проведения бюджетного закона, согласно статье 99, было бы необходимо согласие третьего фактора – короля, без чего бюджет не приобретает силы закона. А по моему убеждению, король Вильгельм не дал бы своего согласия даже в том случае, если бы палата господ согласилась в своих постановлениях с палатой депутатов. Не думаю, чтобы «первая палата» поступила так; напротив, я предполагаю, что ее дебаты, более деловитые и спокойные, подействовали бы гораздо раньше, умерили бы пыл палаты депутатов и отчасти воспрепятствовали бы крайностям последней. Палата господ не имела того же веса в общественном мнении; в ней склонны были видеть дублера правительственной власти и параллельную форму выражения королевской воли.

Я уже тогда не чуждался подобных соображений. Наоборот, я настаивал перед королем, когда он неоднократно обсуждал со мною свой план, на том, чтобы, наряду с определенным числом наследственных членов палаты господ, большая часть ее выходила из корпо-

раций выборщиков, основу которых составляли бы 12 или 13 тысяч рыцарских имений и в дополнение к ним равноценная им земельная собственность, магистраты крупных городов и плательщики наиболее высоких налогов, не обладающие земельной собственностью, но отвечающие требованиям высокого ценза, и чтобы положения о сроке депутатских полномочий и о *ропуске*, действующие в отношении палаты депутатов, были распространены на ненаследственную часть палаты. Король отверг эту идею с такой решительностью и пренебрежением, что пришлось оставить всякую надежду на ее подробное обсуждение. На новом для меня поприще законодательства я тогда не имел еще той уверенности в своей правоте, которая была необходима, чтобы решиться отстаивать свое особое мнение по конституционным вопросам при непосредственных, – что также было ново для меня, – взаимоотношениях с королем и учитывая мое официальное положение. Чтобы чувствовать себя при известных условиях правомочным и обязанным к этому, я должен был обладать более длительным опытом в государственных делах, чем тогда. Если бы лет 20 спустя зашла речь о сохранении первой палаты или превращении ее в палату господ, то первую часть этой альтернативы я превратил бы в вопрос о доверии кабинету.

IV

Позиция, занятая мною в консервативной фракции, расстраивала те планы, которые король имел или утверждал, что имеет в отношении меня. Когда в начале 1854 г. он стал уже прямо намечать меня в министры, его намерению воспротивились не только Мантейфель, но и камарилья, в которой главными фигурами были генерал Герлах и Нибур. Они, так же как и Мантейфель, не были склонны делить со мною влияние на короля и полагали, что вблизи, в повседневном общении им будет труднее ладить со мною, нежели на расстоянии. Герлаха поддерживал в этом предположении и его брат, президент, который имел обыкновение характеризовать меня, как человека с пилатовской натурой, размышляющего над вопросом: «что есть истина?», стало быть, ненадежного товарища по фракции. Это суждение обо мне резко проявилось и в борьбе внутри консервативной фракции и ее узкого *comité* [комитета], когда я, основываясь на моем положении посланника при Союзном сейме и докладчика короля по делам немецких государств, потребовал для себя большего влияния на позицию фракции в делах германской и иностранной политики, между тем как президент Герлах и Шталь претендовали на абсолютное руководство во *всех* отношениях. Я был в оппозиции к обоим, но в большей степени к Герлаху, нежели к Шталю; первый из них уже тогда заявил, предвидя будущее, что пути наши разойдутся и мы окажемся в конце концов противниками. Единомышленниками моими на протяжении всех изменчивых фаз, [пройденных] консервативной фракцией, неизменно оставались Белов-Гогендорф и Альвенслебен-Эркслебен.

Зимой 1853/54 г. король неоднократно вызывал меня в Берлин и подолгу задерживал там; тем самым я внешне оказался в категории карьеристов, которые добивались падения Мантейфеля, старались восстановить принца Прусского против его брата, урвать для себя должности или хотя бы поручения и являлись в глазах короля соперниками Мантейфеля *cum spe succedendi* [надеющимися заместить его]. После того как король заставил меня несколько раз сыграть по отношению к Мантейфелю подобную роль, поручая мне составлять контрпроекты депеш, я обратился к Герлаху, которого застал однажды в маленькой передней около кабинета короля в дворцовом флигеле, расположенном вдоль Шпрее, и просил его исходатайствовать мне позволение уехать обратно во Франкфурт. Герлах вошел в кабинет и стал говорить; король воскликнул: «Пусть он, черт побери, ждет, пока я прикажу ему уехать!» Когда Герлах вышел из кабинета, я сказал, смеясь, что ответ мне уже известен. Таким образом, я пробыл еще некоторое время в Берлине. Когда я собрался, наконец, уехать, то оставил министру составленный мною по повелению его величества проект письма к императору Францу-Иосифу,

которое король намерен был собственноручно написать; Мантейфель взялся представить этот проект королю, предварительно обсудив его содержание вместе со мною. Центр тяжести лежал в заключительной фразе; впрочем, и без нее проект представлял собою заверченный документ; в этом случае, правда, существенно модифицировалось его значение. Я просил дежурного флигель-адъютанта при вручении королю чистового экземпляра обратить его внимание на решающее значение заключительной фразы послания. Об этой предосторожности в ведомстве иностранных дел не знали; произведенное во дворце сличение показало, – как я того и опасался, – что первоначальная редакция была изменена, и притом в сторону, более близкую к австрийской политике. Во время Крымской войны и предшествовавших ей переговоров в правительственных кругах нередко происходила борьба по поводу какой-либо фразы – западнически-австрофильской или русофильской, хотя бы фраза эта, едва ее написали, теряла всякое практическое значение.

Более серьезный вопрос, связанный с редакцией одного документа, – вопрос, затрагивавший ход событий, – возник в августе 1854 г. Король находился в то время на Рюгене; я ехал из Франкфурта в Рейнфельд, где находилась моя больная жена, когда один из старших чиновников почтового ведомства в Штеттине, которому поручено было не упустить меня, передал мне (29 августа) приглашение короля явиться в Путбус. Я охотно улизнул бы, но почтовый чиновник не мог понять, как может человек старого прусского закала уклониться от подобного приглашения. Я отправился на Рюген несколько встревоженный тем, что меня ожидают новые предложения занять министерский пост и что, таким образом, я окажусь в неприемлемом для меня положении по отношению к королю. Он принял меня (30 августа) милостиво и ознакомил с разногласиями по поводу ситуации, возникшей ввиду отступления русских войск из Придунайских княжеств. Речь шла о депеше графа Буоля от 14 сентября и о составленном Мантейфелем проекте ответа, который показался королю слишком австрофильским. Я набросал по приказанию его величества новый проект ответа, который был им одобрен и послан в Берлин, с повелением, несмотря на возражения министра, препроводить его сначала графу Арниму в Вену, а затем сообщить немецким правительствам¹⁰. Настроение короля, сказавшееся в одобрении им составленного мною ответа, отразилось и в приеме, оказанном графу Бенкендорфу, который прибыл в Путбус с письмами и устными поручениями и которого мне пришлось встретить известием, что англичане и французы высадились в Крыму. «Рад этому, – сказал он, – там мы очень сильны». Настроение складывалось в пользу русских. Я полагал, что исполнил свой политический долг, и, получив в это время дурные вести о здоровье моей жены, просил позволения уехать. Косвенно мне было отказано в этом путем зачисления в свиту, что представляло собой знак высокого благоволения. Герлах предупредил меня, чтобы я не придавал этому слишком большого значения. «Только не воображайте, – сказал он, – будто бы вы искуснее нас в политике. В настоящую минуту вы в милости у короля, и он дарит вам эту депешу точно так же, как он поднес бы букет даме».

Как справедливы были эти слова, я узнал тогда же, но в полной мере лишь впоследствии. Когда я продолжал настаивать на своем желании уехать и действительно уехал 1 сентября, король был очень недоволен и сказал Герлаху, что домашние дела мне дороже всей империи. Благоклонно принятый проект составленной мною депеши был телеграфно задержан и затем изменен. Но как глубоко было недовольство его величества, мне стало ясно лишь во время моей поездки в Париж и непосредственно после нее.

¹⁰ Она датирована 21 сентября и напечатана в Yasmund'a, I, 363 f.f.

Глава восьмая Посещение Парижа

I

Летом 1855 г. наш посланник в Париже граф Гацфельд пригласил меня посетить промышленную выставку; он разделял еще распространенное тогда в дипломатических кругах мнение, что я буду вскоре преемником Мантейфеля по министерству иностранных дел. Хотя король иногда и действительно носился с такой мыслью, но уже тогда в интимном придворном кругу было известно, что произошла перемена. Как сказал мне граф Вильгельм Редерн, с которым я встретился в Париже, посланники все еще полагают, что я предназначаюсь в министры, и сам он недавно так думал; но настроение короля резко изменилось. Подробностей он, граф, не знает. Это произошло, очевидно, после моей поездки на Рюген.

День Наполеона – 15 августа – был отпразднован между прочим тем, что по улицам Парижа водили русских пленных, 19-го числа прибыла английская королева, 25 августа в честь ее был дан большой бал в Версале, на котором я был представлен королеве и принцу Альберту.

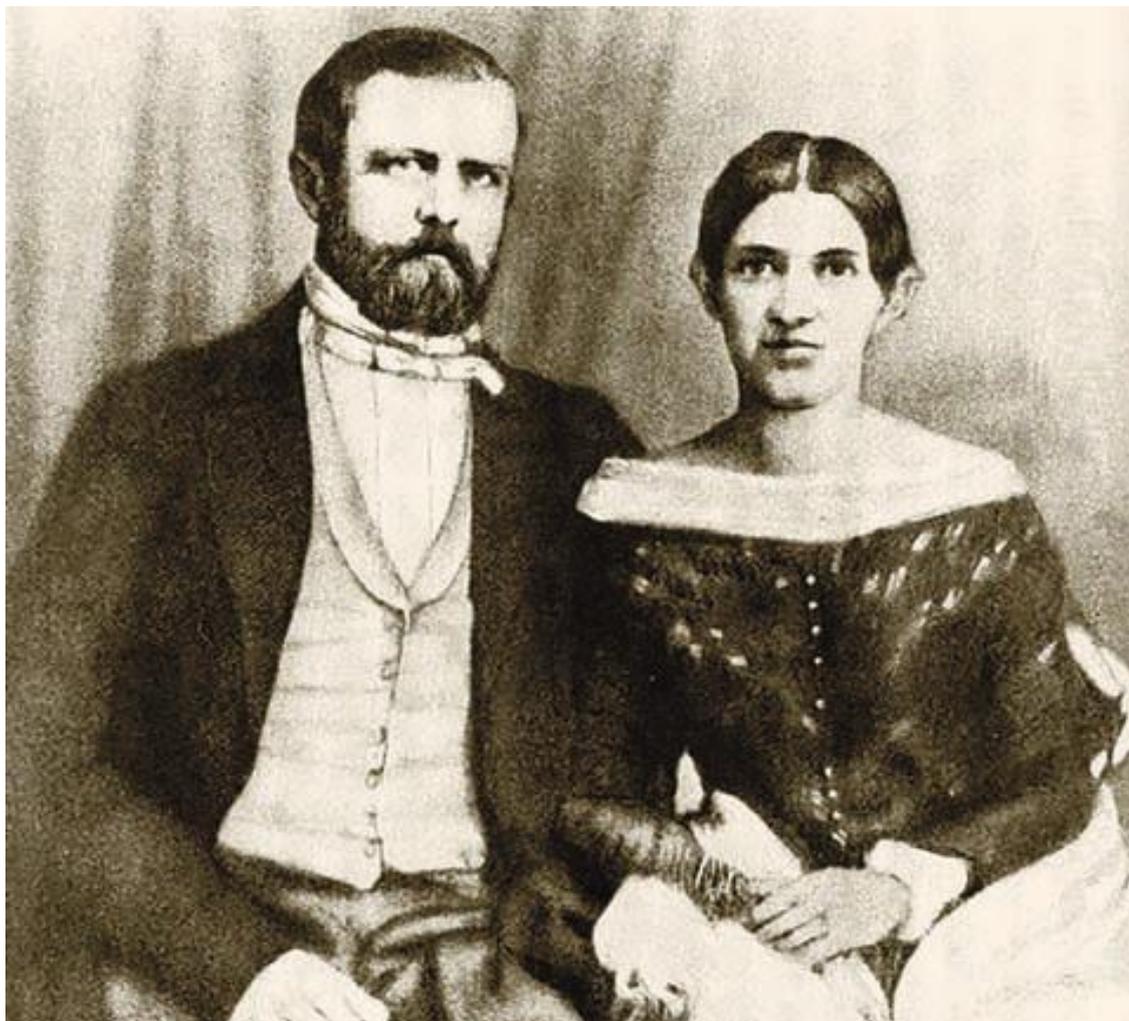
Принц в своем черном мундире, красивый и холодный, был со мною любезен, но в его обращении проглядывало некоторое неприязненное любопытство, из чего я мог заключить, что ему известно о моем влиянии на короля в духе, враждебном западным державам. По складу своего ума принц искал объяснения моего поведения не в его действительных мотивах, какие сводились к стремлению обеспечить независимость отечества от сторонних влияний, находивших благодарную почву в нашем провинциальном почитании Англии и боязни Франции, а также – к желанию не ввязываться в войну, которую нам пришлось бы вести не в собственных интересах, а в силу зависимости от австрийской и английской политики. В глазах принца я был ярким реакционером, ставшим на сторону России, чтобы способствовать абсолютистской и юнкерской политике. Это я узнал, разумеется, не в тот момент, когда представился принцу, а из позднейших фактических и документальных данных. Нет ничего удивительного, что дочь принца Альберта, ставшая в скором времени нашей кронпринцессой, усвоила этот взгляд отца и тогдашних сторонников герцога Кобургского.

Уже вскоре после ее прибытия в Германию, в феврале 1858 г. я убедился по собственному опыту и со слов некоторых членов королевского дома, что принцесса лично предубеждена против меня. Меня удивил не самый факт, но способ, которым выражалось это предубеждение в тесном семейном кругу: она, мол, не доверяет мне. К тому, что принцесса не расположена ко мне из-за моих якобы антианглийских взглядов и моего неподчинения английским влияниям, я был подготовлен; но о том, что впоследствии она, видимо, судила обо мне под впечатлением далеко идущей клеветы, я смог догадаться, когда однажды, после войны 1866 г., сидя рядом со мной за столом, она сказала мне полушутя, что я питаю честолюбивое намерение стать королем или, по крайней мере, президентом какой-нибудь республики. В том же полушутливом тоне я отвечал, что не гожусь в республиканцы, так как воспитан в роялистских традициях моей семьи и нуждаюсь для земного благополучия в монархическом строе; но благодарю Бога, что мне не суждено, как королю, жить постоянно напоказ и что до конца дней своих я должен буду оставаться верноподданным своего короля. Не могу, однако, поручиться, что этот мой взгляд будет унаследован в будущем, и не потому, что переведутся роялисты, а скорее потому, что не окажется больше королей. *Pour faire un civet, il faut un lievre, et pour une monarchie il faut un roi* [Для рагу нужен заяц, а для монархии нужен король]. Я бы не поручился, что будущее поколение не станет республиканским за неимением короля. Говоря это, я не мог отделаться от гру-

сти при мысли, что престол может перейти к наследнику, не воспринявшему монархических традиций. Принцесса не пожелала придать разговору серьезного оборота и продолжала его в шутовском тоне, оставаясь любезной и сдержанной, как всегда; у меня создалось впечатление, что ей просто хотелось подтрунить над своим политическим противником.

В первые годы моей министерской деятельности я неоднократно замечал во время подобных бесед за столом, что принцессе доставляло особенное удовольствие задевать мои патриотические чувства шутовской критикой лиц и порядков.

На упомянутом балу в Версале королева Виктория говорила со мной по-немецки. Я вынес из ее разговора впечатление, что она смотрела на меня, как на человека незаурядного, но несимпатичного; однако в ее тоне не чувствовалось оттенка иронического превосходства, которое я уловил в словах принца Альберта. Она была приветлива и учтива, как человек, стремящийся не обидеть забавного чудака.



Отто фон Бисмарк с супругой. Фото 1846 г.



Дворец Бисмарка в Варцино (между 1857-м и 1883 г.). Литография Т. Блэттербауера

За ужином меня удивил странный по сравнению с Берлином распорядок: все общество было разделено на три категории с особым меню для каждой, причем все те особы, которые были приглашены к столу, получили при входе билет с номером. На билетах первой категории было обозначено также имя дамы, председательствующей за соответствующим столом. Столы были накрыты человек на 15 или на 20. Я получил при входе билет к столу графини Валевской и позже, уже в самом зале, – еще по билету от двух других дам-патронесс из дипломатического и придворного круга. Стало быть, никакого точного плана размещения гостей не было. Я счел более подходящим занять место за столом графини Валевской, к департаменту которой я принадлежал в качестве иностранного дипломата. Направляясь в зал, где я должен был ужинать, я наткнулся на одного прусского офицера в мундире гвардейского пехотного полка; он вел под руку даму, француженку, и горячо спорил с одним из императорских дворецких, который не хотел пропустить их обоих, так как у них не было билетов. Когда офицер в ответ на мой вопрос объяснил в чем дело и назвал даму, которая оказалась герцогиней с итальянским титулом времен Первой империи, я заявил придворному служителю, что билет этого господина у меня, и подал ему один из своих. Но дворецкий все же не хотел пропустить даму, тогда я отдал офицеру и второй билет для его герцогини. «Mais vous ne passerez pas sans carte» [«Но вы не пройдете без билета»], – заметил на это служитель; когда я показал ему третий билет, он сделал удивленное лицо и пропустил нас троих. Я посоветовал моим подопечным не садиться за те столы, которые были указаны на билетах, а пристроиться где-нибудь в другом месте, и никаких претензий из-за передачи мною билетов не слышал. Беспорядок был настолько велик, что за нашим столом не все места оказались занятыми; это объясняется тем, что *dames patronesses* [дамы-патронессы] между собой не стоворились. Старый князь Пюклер то ли вовсе не получил билета, то ли не мог найти своего стола; когда он, увидев знакомое лицо, обратился ко мне, графиня Валевская пригласила его занять одно из пустовавших за нашим столом мест. Несмотря на установленные три категории, ужин был во всех отношениях не на высоте в сравнении с тем, что я видел в Берлине на таких больших придворных празднествах; лишь слуг было достаточно, и прислуживали они расторопно.

По сравнению с Берлином меня больше всего поразила беспорядочность движения публики. В Версальском дворце гораздо легче, чем в берлинском, упорядочить движение: и залов по числу больше, и все они, кроме Белого зала, просторнее. Но здесь лица категории № 1, отужинав, шли обратно тем же путем, каким направлялись к ужину голодные из категории № 2, которые неслись стремглав, обнаруживая уже большее отсутствие светских манер и навыков. Кавалеры в лентах, в шитых мундирах и элегантные дамы в роскошных туалетах толкали друг друга, причем дело доходило до брани и рукоприкладства, что немислимо было бы у нас во дворце. Я уехал, с удовлетворением сознавая, что при всем блеске императорского двора придворная служба, воспитание и манеры придворного общества у нас, а также в Петербурге и Вене, выше, чем в Париже, и что прошли те времена, когда Париж и парижский двор были школой учтивости и хороших манер. Даже устарелый, особенно по сравнению с петербургским, этикет малых немецких дворов был достойнее нравов, царивших при французском императорском дворе. Правда, такое впечатление сложилось у меня еще при Луи-Филиппе; во Франции при его правлении положительно вошло в моду обращать на себя внимание утрированной бесцеремонностью и невежливым обращением, особенно с дамами. Хотя в этом отношении при Второй империи стало несколько лучше, но все же тон чиновного и светского общества и этикет самого двора во многом уступал этикету, соблюдавшемуся при дворах трех восточных великих держав. Во времена Луи-Филиппа, как и Луи-Наполеона, только в легитимистских кругах, не имевших ничего общего с официальным миром, дело обстояло иначе: сохранился безупречный тон, учтивый и радушный; исключение составляли разве лишь отдельные молодые люди, более зараженные парижским духом и приобретающие свои привычки не в семье, а в клубах.

Император, которого я впервые увидел во время тогдашнего моего пребывания в Париже, в разговорах на различные темы дал мне тогда понять лишь в общих выражениях о своих желаниях и намерениях в смысле тесного франко-прусского сближения. Он говорил о том, что эти два соседних государства, по своей культуре и внутренним порядкам стоящие во главе цивилизации, нуждаются во взаимной поддержке. Не было заметно стремления прежде всего заявить мне претензии по поводу нашего отказа примкнуть к западным державам. Я чувствовал, что нажим, который осуществляли в Берлине и Франкфурте *Англия и Австрия*, чтобы принудить нас служить военным планам западных держав, производился с гораздо большей силой и, так сказать, запальчивостью и грубостью, нежели те высказанные мне в благожелательном тоне обещания и пожелания, которыми император защищал [идею] нашего соглашения именно с Францией. Он был гораздо снисходительнее к нашим прегрешениям в отношении политики западных держав, нежели Англия и Австрия. Ни тогда, ни впоследствии он ни разу не говорил со мной по-немецки.

На исходе сентября того же года я убедился, что моя поездка в Париж не понравилась нашему двору и усилила уже существовавшее недовольство мною, в особенности со стороны королевы Елизаветы. Во время поездки короля по Рейну на торжества по случаю постройки Кельнского собора я явился к королю в Кобленц и получил вместе с женой приглашение сопровождать его в Кельн на пароходе, но королева не удостоила мою жену ни малейшего внимания ни на пароходе, ни в Ремагене. Принц Прусский, заметив это, предложил моей жене руку и повел ее к столу. После обеда я просил позволения вернуться во Франкфурт, что мне и было разрешено.

Лишь зимой, в течение которой король снова приблизил меня к себе, он, сидя однажды против меня за столом, задал мне вопрос, каково мое мнение о Луи-Наполеоне; в тоне его звучала ирония. Я ответил: «Император Наполеон показался мне человеком умным и любезным, но не таким уж умницей, каким его считает свет, приписывая ему все, что ни делается: если в Восточной Азии дождь пойдет не вовремя, то и это стараются объяснить злокозненными махинациями императора. Особенно у нас привыкли считать его неким *genie du mal* [гением зла],

у которого всегда на уме одни только пакости. Мне кажется, он доволен, когда может в тиши радоваться какому-нибудь доброму делу; его ум преувеличивают в ущерб его сердцу; в сущности он добродушен, и ему свойственно испытывать необычайную благодарность за каждую оказанную ему услугу».

Король рассмеялся так, что это меня задело, и я спросил, не будет ли мне позволено угадать, что в данный момент на уме его величества. Он разрешил мне это, и я сказал:

«Генерал фон Каниц читал в военной академии молодым офицерам лекции о наполеоновских походах. Некий любознательный слушатель спросил его, почему Наполеон упустил из виду такое-то и такое передвижение. Каниц отвечал: «Да, вот видите, что за человек был Наполеон, хороший парень, но глуп, донельзя глуп», что, разумеется, чрезвычайно рассмешило всех слушателей. Боюсь, что мысли вашего величества обо мне сходны с тем, что думал генерал фон Каниц о Наполеоне».

«Пожалуй, вы правы, – отвечал король, смеясь, – но я недостаточно знаю нынешнего Наполеона, чтобы оспаривать ваше мнение, будто сердце у него лучше, нежели голова». По некоторым мелочам, в которых обычно проявляются настроения двора, я заметил, что королеве мой взгляд не понравился.

II

Неудовольствие по поводу моих отношений с Наполеоном проистекало из понятия, или, точнее говоря, из слова «*легитимизм*»; в его современном смысле оно было сформулировано Талейраном, который в 1814 и 1815 гг. с большим успехом использовал это слово в интересах Бурбонов, как некую магическую формулу для отвода глаз.

Привожу здесь по этому поводу некоторые отрывки из моей переписки с Герлахом, которая относится к более позднему времени, но велась по поводу, явствующему уже из вышеприведенных выдержек.

«Франкфурт, 2 мая 1857 г.

...При всем единодушии с вами в вопросах внутренней политики я никак не могу усвоить ваш взгляд на внешнюю политику, заслуживающий, по-моему, вообще упрека в *игнорировании реальностей*. Вы исходите из того, что я будто бы жертвую принципом ради единичной импонирующей мне личности. Возражаю и против первого и против второго. Человек этот вовсе не импонирует мне. Склонность восхищаться людьми слабо развита у меня, да и глаза у меня так странно устроены, что я лучше различаю недостатки, нежели достоинства. Если мое последнее письмо написано в несколько приподнятом тоне, то прошу считать это не более, как риторическим приемом, которым я хотел подействовать на вас. Что же касается принципа, якобы принесенного мною в жертву, не могу вполне конкретно представить себе, что именно вы имеете в виду, и прошу вернуться к этому пункту в одном из последующих писем, так как я не хотел бы разойтись с вами принципиально. Если вы подразумеваете под этим принцип, который надлежит применить к *Франции и ее легитимизму*, то я утверждаю, конечно, что *вполне* подчиняю его моему *специфически прусскому патриотизму*; Франция интересуется меня лишь постольку, поскольку она оказывает влияние на положение моего отечества; мы можем вести политику лишь с *такой Францией*, какая существует, и не *исключать ее из [политических] комбинаций*. Легитимный монарх вроде Людовика XIV – столь же враждебный элемент [для нас], как и Наполеон I, и если бы нынешний преемник Наполеона вздумал отказаться от престола и удалиться на покой, как частное лицо, он не сделал бы нам этим никакого одолжения, и Генрих V ему бы *не* наследовал; если даже посадить его [Генриха V] на вакантный, незанятый трон, он на нем не удержится. Как романтик, я могу пролить слезу о его судьбе; как дипломат, я был бы его верным слугой, будь я француз; но Франция, кто бы в данный момент

ее ни возглавлял, остается для меня только фигурой, и притом неизбежной, в шахматной игре, [называемой] политикой, – игре, в которой я призван служить только *моему* королю и *моей* стране. Мое понятие о долге не позволяет мне оправдывать ни в себе, ни в других проявлений симпатий и антипатий к иностранным державам и лицам при исполнении служебных обязанностей на поприще внешней политики, ибо в этом таится зародыш неверности по отношению к монарху или стране, которой мы служим, в особенности если начинают ставить в зависимость от этого уже существующие дипломатические отношения и поддержание согласия в мирное время; тут уж, по-моему, прекращается всякая политика, а действует просто личный произвол. Подчинять интересы отечества личным чувствам любви или ненависти к чужому не в праве, по моему убеждению, даже король; однако он несет ответственность перед Богом, а не передо мною, поэтому я не касаюсь этого вопроса.

Или, быть может, вы находите принцип, которым я якобы пожертвовал, в формуле: *пруссак непременно должен быть противником Франции?* Из вышесказанного следует, что мое отношение к иностранным правительствам определяется не косными антипатиями, но лишь пользой или вредом, какой может, по моему разумению, произойти отсюда для Пруссии. Политика чувства вовсе не встречает взаимности – это исключительно прусская особенность; всякое иное правительство руководствуется в своих действиях только собственными интересами, как бы оно ни старалось прикрыть их правовыми или сентиментальными рассуждениями. Излияние *наших* чувств милостиво принимают, их используют, рассчитывая, что они не позволят нам уклониться от такого их использования; сообразно с этим с нами и обходятся, т. е. нас даже не благодарят, а просто почитают за удобного *dupé* [простофилю].

Я полагаю, вы согласитесь со мною, если я скажу, что наш престиж в Европе сейчас уже не тот, каким он был до 1848 г.; думаю даже, что все время с 1763 по 1848 г., – разумеется, за исключением периода с 1807 по 1813 г., – он стоял выше, чем теперь. Я признаю, что в соотношении наших сил с другими великими державами мы до 1806 г. были в смысле агрессии сильнее, чем теперь, но не с 1815 по 1848 г. Почти все были тогда тем же, чем они являются и теперь. Нам же приходится сказать словами пастушка из стихотворения Гете: «Я вниз в долину спустился, но сам не знаю как». Я не хочу сказать, что я это знаю, но, без сомнения, многое заключается в следующем обстоятельстве: мы ни с кем не находимся в союзе и не ведем никакой внешней политики, – именно активной [политики]; мы ограничиваемся лишь тем, что подбираем камешки, залетающие в наш огород, и по мере наших сил счищаем падающую на нас грязь. Говоря о союзах, я не подразумеваю под этим союзов оборонительных и наступательных, ибо миру не угрожает пока опасность, но все же намеки на возможность, вероятие или намерение заключить на случай войны тот или иной союз, примкнуть к той или иной группировке – эти-то намеки и лежат в основе влияния, которым какое-либо государство может теперь пользоваться в мирное время. Тот, кто в случае войны может очутиться в слабейшей группировке, склонен быть сговорчивее; тот, кто совершенно изолируется от других, отказывается тем самым от влияния, особенно если это самая слабая из великих держав. Союзы являются выражением общности интересов и намерений. Я не знаю, имеем ли мы сейчас в политике какие-либо осознанные цели и намерения; но что мы имеем *интересы*, об этом-то уж нам напомнят другие. Мы же можем рассчитывать пока на союз лишь с теми, чьи интересы наиболее многообразно скрещиваются и даже сталкиваются с нашими, а именно на союз с германскими государствами и с Австрией. Если мы намерены этим ограничить нашу внешнюю политику, то нам придется свыкнуться и с той мыслью, что в мирное время наше влияние на европейские дела будет сведено до семнадцатой части голосов в узком совете Союзного сейма, а в случае войны мы останемся одни во дворце Турн-и-Таксис с союзной конституцией в руках. Я спрашиваю вас: есть ли, скажите, в Европе хоть один кабинет, кроме венского, который был бы так кровно, естественно заинтересован в том, чтобы *не* допускать усиления Пруссии, а, напротив, уменьшить ее влияние в Германии; есть ли еще один кабинет, который пре-

следовал бы эту цель более ревностно и искусно, который с таким хладнокровием и цинизмом руководствовался бы вообще в своей политике только *собственными* интересами и который дал бы нам, России и западным державам столько убедительных доказательств своего коварства и ненадежности в качестве союзника? Разве Австрия стесняется входить в любые, отвечающие ее выгодам, соглашения с заграницей и даже открыто угрожать ими членам Германского союза? Считаете ли вы императора Франца-Иосифа натурой, способной к жертвам и преданности вообще, а ради чуждых Австрии интересов – в особенности? Видите ли вы, с точки зрения «принципа», какую-нибудь разницу между его буольбаховским образом правления и наполеоновским? Глава последнего [Наполеон] сказал мне в Париже, что ему, «*qui fais tous les efforts pour sortir de ce systeme de centralisation trop tendue qui en dernier lieu a pour pivot un gendarme secretaire et que je considere comme une des causes principales des malheurs de la France*» [«всячески старающемся покончить с системой чрезмерной централизации, которая зиждется в низшей инстанции на полицейском писаре и которую я считаю одной из главных причин всех бедствий, постигших Францию»], очень странно видеть, как Австрия всеми силами стремится к такой централизации. Прошу вас далее ответить мне, не отделяясь уклончивыми выражениями: существуют ли еще помимо Австрии правительства, которые считали бы себя менее обязанными сделать что-либо для Пруссии, нежели средние немецкие государства? В мирное время они испытывают потребность играть роль в Германском союзе и в Таможенном союзе, оберегать свой суверенитет у наших границ, ссориться с фон дер Хейдтом, а во время войны их поведение по отношению к нам обуславливается боязнью или недоверием; ангел – и тот не в состоянии искоренить в них это недоверие, пока существуют географические карты, на которые они могут бросить взгляд. И еще один вопрос: неужели вы и его величество король в самом деле рассчитываете на Германский союз и на его армию в случае войны? Я имею в виду не революционную войну Франции против Германии, находящейся в союзе с Россией, а войну интересов (*Interessenkrieg*), когда Германия с Пруссией и Австрией оказались бы предоставленными самим себе. Если вы на это рассчитываете, то я не считаю возможным продолжать наш спор: значит, мы с вами исходим из совершенно различных предпосылок. Но что дает вам право предполагать, будто великий герцог Баденский или Дармштадтский, король Вюртембергский или Баварский возьмут на себя, в интересах Пруссии и Австрии, роль Леонида, если превосходство *не* на стороне этих держав и если никто не имеет ни малейшего основания верить в единодушие и взаимное доверие между Пруссией и Австрией? Едва ли король Макс заявит Наполеону в Фонтенебло, что только через его труп император перейдет границу Германии или Австрии.

Я был весьма удивлен, прочитав в вашем письме, что австрийцы утверждают, будто они сделали для нас в Нейенбурге более, чем французы. Так нагло лгать может только Австрия; если бы австрийцы даже *хотели*, они не могли бы ничего сделать, да и, право же, ради нас не стали бы входить ни в какие сделки с Францией и с Англией. Они, напротив, как только могли, мешали нам в вопросе о пропуске войск; они клеветали на нас, восстановили против нас Баден, а затем в Париже были против нас, заодно с Англией. И французы и Киселев передавали мне, что во всех переговорах, где Гюбнер присутствовал *без* Гацфельдта, – а это были переговоры как раз по решающим вопросам, – он первый всегда присоединялся к протестам англичан против нас; за ним уже выступала Франция, а за нею – Россия. Да, собственно говоря, с какой стати стал бы *кто бы то ни было* действовать в нашу пользу в вопросе о Нейенбурге и отстаивать наши интересы? Разве можно было от нас ожидать что-нибудь в награду за услугу или опасаться нас в противном случае? Пусть другие ожидают от нас, что мы станем действовать в политике единственно из чувства всеобщей справедливости или из желания угодить, – *мы* не в праве ожидать этого от *других*.

Если мы решаем и впредь оставаться изолированными и хотим, чтобы с нами не считались и при случае третировали, то я, разумеется, не в силах помешать этому; если же мы хотим

восстановить наш престиж, то этого нельзя достигнуть, поскольку мы закладываем фундамент нашего будущего только на песке Германского союза и спокойно ожидаем обвала. Пока все мы убеждены, что часть европейской шахматной доски закрыта [для нас] по собственному нашему желанию или что мы из принципа связываем себе одну руку, в то время как другие пользуются обеими руками к невыгоде для нас, – таким нашим благодушием будут пользоваться без страха и без признательности. Ведь я отнюдь не требую, чтобы мы заключили союз с Францией и конспирировали против Германии; но не разумнее ли быть с французами в дружеских, а не в холодных отношениях, пока они оставляют нас в покое? Мне хотелось бы только, чтобы прочие не думали, будто *они* могут брататься с кем угодно, а *мы* скорее дадим вырезать ремни из нашей кожи, нежели станем защищать ее с помощью Франции. Учтивость – это дешевая монета, и если этой ценой удастся добиться хотя бы того, что другие перестанут думать, будто они *всегда* могут рассчитывать на Францию против нас, а нам постоянно нужна помощь против Франции, то и это уже будет большим выигрышем для мирной дипломатии; если мы пренебрегаем этим средством и даже поступаем противоположным образом, то не знаю, почему бы нам лучше не сэкономить и не сократить расходы на дипломатию, ибо эта каста при всем своем старании не добьется того, что может сделать без особых усилий король, а именно – вернуть Пруссии достойное положение в мирное время видимостью дружественных отношений и возможных союзов. В не меньшей мере его величество в состоянии без труда затормозить всю работу дипломатов демонстрацией *холодных* отношений; в самом деле, чего же могу добиться здесь я или любой другой наш посланник, когда мы производим такое впечатление, что у нас нет друзей или же что мы рассчитываем на дружбу Австрии. Только в Берлине и можно говорить, не вызывая насмешек, о поддержке со стороны Австрии в каком-нибудь важном для нас вопросе. Да и в Берлине я знаю лишь очень ограниченный круг людей, которые говорили бы без горечи о нашей внешней политике. У нас от всех бед одно средство: броситься на шею графу Буолю и излить ему нашу братскую душу. В бытность мою в Париже некий граф NN потребовал ввиду нарушения супружеской верности развода со своей женой, бывшей наездницей, застигнув ее в *двадцать четвертый раз* на месте преступления; на суде адвокат графа превозносил его как образец галантного и снисходительного супруга. Но и ему не сравниться с нашим великодушием в отношении Австрии.

На внутреннем нашем положении собственные его недочеты отражаются вряд ли тяжелее, чем овладевшее всеми гнетущее сознание утраты нашего престижа за границей и совершенно пассивной роли нашей политики. Мы – нация тщеславная, нас огорчает, когда мы не можем ничем похвалиться, и ради правительства, которое создает нам вес за границей, мы можем многое стерпеть и многим поступиться, даже кошельком. Но если нам приходится сознаться, что внутри страны мы скорее благодаря здоровому организму справляемся с болезнями, прививаемыми нам лекарями из министров, нежели лечимся и соблюдаем здоровую диету по их предписанию, то напрасно было бы искать утешения в делах нашей внешней политики. Ведь вы, глубокоуважаемый друг, *au fait* [в курсе] нашей политики; так можете ли вы назвать какую-нибудь цель, которую ставила бы себе эта политика, хоть один какой-нибудь план на несколько месяцев вперед? Даже *rebus sic stantibus* [при данных обстоятельствах] знают ли там, чего собственно хотят? Знает ли это кто-либо в Берлине, и неужели вы предполагаете, что у руководителей какого-либо другого государства также отсутствуют положительные цели и взгляды? Далее, можете ли вы мне назвать хоть одного союзника, на которого Пруссия могла бы рассчитывать, если бы теперь дело дошло до войны, или который высказался бы в нашу пользу в таком вопросе, как, например, Нейенбургский, или который сделал бы для нас что-нибудь, рассчитывая на наше содействие или опасаясь нашей враждебности? Мы самые благодушные, самые безобидные политики, и, однако, нам, в сущности, никто не доверяет; мы считаемся ненадежными товарищами и неопасными врагами, точно мы в делах внешней политики ведем себя, как Австрия, а во внутренней так же больны, как она. Я не говорю о настоя-

щем моменте; но можете ли вы назвать мне какой-нибудь *позитивный* план (оборонительных – сколько угодно) или какую-нибудь цель в нашей внешней политике со времени проекта Радовица о союзе трех королей. Правда, был проект относительно залива Яде, но он остается до сих пор не осуществленным проектом, а Таможенный союз Австрия любезнейшим образом вытянет у нас, так как мы не решимся наотрез сказать «нет». Удивляюсь, как это у нас еще находятся дипломаты, у которых хватает смелости иметь свое суждение и не угасло еще деловое честолюбие. Кажется, я ограничусь скоро, подобно многим моим коллегам, тем, что буду, не мудрствуя, исполнять получаемые инструкции, присутствовать на заседаниях и уклоняться от участия в общем ходе нашей политики; так и здоровье сохранишь и чернил меньше изведешь.

Вы скажете, наверное, что я вижу все в черном свете с *depit* [досады], что вы не разделяете моих взглядов, что я резонерствую, как скворец, но я, право, столь же ревностно, как и свои идеи, стал бы отстаивать и чужие, только бы они были. А чтобы и дальше так прозябать, нам вовсе не нужен весь аппарат нашей дипломатии. Жареные рябчики, которые летят нам прямо в рот, и так нас не минуют; впрочем, даже это может случиться, если мы не потрудимся вовремя разинуть рот, разве только зевнем в ту минуту. Я же стремлюсь к одному: не уклоняться от таких шагов, которые могут в мирное время создать у иностранных кабинетов впечатление, что мы не в плохих отношениях с Францией, что им не следует рассчитывать, будто мы нуждаемся в их содействии против Франции, и на этом основании прижимать нас; и что ежели с нами захотят обойтись недостойным образом, то перед нами открыта возможность любых союзов. Я утверждаю, что эти преимущества мы можем получить за одну только учтивость и видимость взаимности; а теперь – пусть мне докажут, что это не представит нам никаких выгод и что нашим интересам больше отвечает такая ситуация, когда иностранные и германские дворы имеют основание исходить из предположения, что мы при всех условиях должны быть вооружены против Запада и нуждаемся в союзах, а, возможно, даже в помощи против него: пусть мне докажут, что нам следует предпочесть такую ситуацию даже в том случае, когда эти дворы пользуются подобным предположением в качестве базиса для направленных против нас политических операций. Или же пусть мне предъявят другие планы и намерения, не совместимые с видимостью хороших отношений с Францией. Не знаю, имеет ли правительство какой-либо план (который мне неизвестен), – я этого не думаю; но когда уклоняются от дипломатического сближения, предлагаемого великой державой, и регулируют политические отношения двух великих держав, руководствуясь исключительно симпатиями или антипатиями к отдельным людям и порядкам, изменить которые ведь не в нашей власти и воле, то я проявлю лишь сдержанность, сказав: не могу согласиться с этим как дипломат и при подобной системе внешних отношений нахожу лишним и фактически упраздненным все дипломатическое ремесло, вплоть до консульской службы. Вы говорите: «Этот человек наш естественный враг; скоро обнаружится, что он именно таков и таким останется». Я мог бы возразить или с тем же правом сказать: «Австрия и Англия – наши враги; что это так, давно уже обнаруживается со стороны Австрии естественным образом, со стороны Англии – неестественным». Но оставим это, допустим даже, что вы правы; и все же я не могу признать политически благоразумным показывать наши опасения другим державам и самой Франции еще в мирное время, а, напротив, считаю, что, до тех пор пока не произойдет предсказываемый вами разрыв, было бы недурно дать понять прочим, что мы *не* считаем войну с Францией неизбежной в более или менее близком будущем, что такая война не есть нечто неразрывно связанное с положением Пруссии, что натянутые отношения с Францией – это не органический порок, не врожденный недостаток нашей природы, на котором всякий может с уверенностью спекулировать. До тех пор, пока считается, что мы холодны с Францией, до тех пор и коллега по союзу будет здесь холоден со мной...

ф. Б.»

Вот что отвечал мне Герлах:

«Берлин, 6 мая 1857 г.

Ваше письмо от 2-го числа доставило мне, с одной стороны, большое удовольствие, так как я убедился в вашем искреннем желании сохранить или достигнуть единодушия со мной во взглядах, чему большинство людей не придает значения, но, с другой стороны, оно вызывает необходимость возразить вам и привести доводы в подтверждение моих взглядов.

Прежде всего я считаю, что в глубочайшей основе мы с вами все же единодушны. Иначе я не стал бы вдаваться в столь пространные возражения: ведь это ни к чему бы не привело. Если вы испытываете потребность не расходиться со мной принципиально, то надобно прежде всего установить, в чем заключается самый принцип, и не ограничиваться одними отрицаниями, вроде «игнорирования реальностей», «исключения Франции из политических комбинаций». Нельзя также искать этот общий принцип в «прусском патриотизме», «в пользе и вреде для Пруссии», в «службе исключительно королю и стране», ибо все это само собой разумеющиеся вещи, относительно которых вы должны ожидать моего ответа в том смысле, что я надеюсь осуществить их своей политикой и лучше и полней, нежели вашей или всякой другой. Но для меня установление принципа представляется именно потому делом исключительной важности, что без такого принципа я считаю все политические комбинации ошибочными, непрочными и в высшей степени опасными; в этом в течение последних 10 лет меня убедил его успех.

А теперь мне придется начать несколько издалека, со времен Карла Великого, т. е. оглянуться лет за тысячу назад. В то время принципом европейской политики было распространение христианской веры. Карл Великий служил этому делу, воюя с сарацинами, саксами, аварами и т. д., и его политика, право же, не была непрактичной. Его преемники были поглощены беспринципными распрями, и только великие государи Средневековья остались верны старому принципу. Прусская мощь была основана в борьбе бранденбургских маркграфов и Тевтонского ордена с теми народами, которые не хотели подчиниться власти императора – викария церкви, и это длилось до тех пор, пока упадок церкви не привел к территориализму, к упадку империи, к церковному расколу. С тех пор в христианском мире не стало общего принципа. От первоначального принципа уцелело только сознание необходимости бороться против опасного могущества турок. Австрия, а впоследствии Россия поистине не были непрактичны, когда сообразно этому принципу воевали с турками. Войны с Турцией упрочили могущество этих держав, и если бы мы только оставались верны этому принципу борьбы с Турецкой империей, Европа или христианский мир оказался бы – насколько в состоянии судить человек – в лучшем положении относительно Востока, нежели теперь, когда нам угрожает оттуда величайшая опасность. До Французской революции – этого резкого и весьма практического отпадения от церкви Христовой, прежде всего в политической области – проводилась политика «интересов» так называемого патриотизма, и мы видели, куда она привела. Чего-либо более убогого, нежели прусская политика с 1778 г. до Французской революции, не существовало; напомним о субсидиях, которые Фридрих II платил России и которые были равносильны дани; напомним о ненависти к Англии. В Голландии старый престиж Фридриха II удержался еще до 1787 г.; но Рейхенбахская конвенция была уже позором, вызванным отступлением от принципа. Войны великого курфюрста велись в интересах протестантизма, а войны Фридриха-Вильгельма III с Францией были, собственно говоря, войнами против революции. Протестантский характер имели по существу и три силезские войны 1740–1763 гг., хотя в них играли такую же роль интересы территориализма и соображения равновесия.

Принцип, внесенный в европейскую политику революцией, совершившей свой тур по Европе, сохраняет свою силу, по моему мнению, и донныне. Нельзя сказать, чтобы верность этому взгляду оказалась непрактичной. Англия, которая осталась до 1815 г. верна принципу борьбы с революцией и не дала обмануть себя старому Бонапарту, достигла высшей сте-

пени могущества; Австрия после многих неудачных войн все же благополучно вышла из этой школы. Пруссия тяжело пострадала от последствий Базельского мира и оправилась только в 1813–1815 гг.; еще более пострадала Испания, которую он погубил; немецкие же средние государства, по вашему собственному мнению, являются в Германии печальным продуктом революции и порожденного ею бонапартизма, этой *matéria ressans* [источником греха], продуктом, октроированным и взятым под покровительство на Венском конгрессе из-за половинчатости и взаимного недоверия. Если бы, руководствуясь принципом, в Вене отдали Бельгию Австрии, а франконские княжества – Пруссии, то Германия была бы теперь в ином положении, в особенности если бы одновременно были сведены к своим естественным размерам незаконнорожденные – Бавария, Вюртемберг и Дармштадт; однако принципу предпочли тогда округление [границ] и тому подобные чисто механические соображения.

Но вам, вероятно, уже наскучили мои уходящие слишком далеко рассуждения, поэтому перехожу к новейшим временам. Неужели вы находите благополучным такое положение, что в настоящее время, когда Пруссия и Австрия враждуют между собой, Бонапарт властвует до самого Дессау и ничто в Германии не делается без его разрешения? Разве союз с Францией может заменить нам тот порядок вещей, который существовал с 1815 по 1848 г., когда в немецкие дела не вмешивалась ни одна чужая держава? Я убежден, как и вы, что Австрия и немецкие государства ничего не сделают для нас. Но я думаю, что Франция, т. е. Бонапарт, *также* ничего для нас не сделает. Я, как и вы, не одобряю, что у нас относятся к нему недружелюбно и невежливо; исключать Францию из политических комбинаций – безумие. Но из этого еще не следует, что надобно забыть о происхождении Бонапарта, пригласить его в Берлин и этим перепутать все понятия и внутри страны и за рубежом. В невшательском вопросе он вел себя хорошо в том отношении, что предотвратил войну и открыто сказал, что больше ничего не станет делать. Но еще вопрос, не лучше ли обстояло бы дело, если бы мы не поддавались «политике чувства», а прямо поставили вопрос перед европейскими державами, подписавшими Лондонский протокол вместо того, чтобы укрываться под крылом Бонапарта, чего как раз и желала Австрия. С пленными же, за которых можно было заступиться, не приключилось бы никакой беды.

Далее, вы обвиняете нашу политику в изолированности. В том же винил нас и франкмасон Узедом, когда хотел навязать нам договор от 2 декабря; и Мантейфелю, ныне решительному врагу Узедома, эта мысль весьма импонировала, вам же в то время, слава богу, – нет. Австрия присоединилась тогда к декабрьскому договору, – а какую пользу он принес ей? Она мечется теперь в поисках союзов. Некий квазиальянс она заключила тотчас же после Парижского мира, а сейчас как будто заключила тайное соглашение с Англией. Я не вижу в этом никаких выгод, а одни только затруднения. Последний союз может приобрести значение лишь в случае ликвидации франко-английского союза, да и тогда не удержат Пальмерстона от заигрывания с Италией и Сардинией.

Моим политическим принципом была и будет борьба с революцией. Вы не убедите Бонапарта в том, что он не на стороне революции. Да он и не хочет быть в другом лагере, ибо он находит в этом свои безусловные выгоды. Стало быть, здесь не может быть речи ни о симпатиях, ни об антипатиях. Эта позиция Бонапарта есть «реальность», которую вы не можете «игнорировать». Но это отнюдь не означает, что не следует быть вежливым и уступчивым, признательным и предупредительным по отношению к нему и что нельзя договариваться с ним в определенных случаях. Однако если мой принцип, как принцип противодействия революции, правилен, – а я думаю, что и вы признаете его таковым, – то следует постоянно держаться его и на практике, дабы к тому времени, когда вопрос станет актуальным, – а это время придет, если принцип правилен, – те, которые также должны признать его (как, возможно, в скором будущем Австрия, а также и Англия), знали, чего они могут от нас ждать. Вы сами говорите, что на нас нельзя полагаться, а ведь нельзя не признать, что лишь тот надежен, кто действует по определенным принципам, а не сообразуется с шаткими понятиями интересов и т. д. Англия,

а по-своему и Австрия были с 1793 по 1813 г. вполне надежны и поэтому всегда находили себе союзников, несмотря на все поражения, которые наносили им французы.

Что же касается нашей германской политики, то я думаю, что мы все же призваны показывать малым государствам свое прусское превосходство и не позволять делать с собой все что угодно, например, в делах Таможенного союза и многих других, вплоть до приглашений на охоту, вплоть до поступления принцев в нашу службу и т. д. Здесь, т. е. в Германии, и надлежит, как мне кажется, оказать сопротивление Австрии, но одновременно следовало бы также избегать в отношении Австрии всего вызывающего. Вот что я могу возразить на ваше письмо.

Если же говорить о нашей политике вне Германии, то я ничего удивительного и ничего страшного не нахожу в том, что мы изолированы в такое время, когда все перевернулось вверх дном, когда Англия и Франция находятся еще в таком тесном союзе, что Франция не отваживается принять меры предосторожности против швейцарских радикалов, потому что это может не понравиться Англии, между тем как на ту же Англию она наводит страх своей подготовкой к десанту и делает решительные шаги к альянсу с Россией, когда Австрия состоит в союзе с Англией, что непрестанно порождает смуту в Италии, и т. д. В какую же сторону нам обратиться, по вашему мнению, при таком положении вещей? Не в ту ли, на которую будто бы намекал, находясь здесь, Плон-Плон, т. е. к союзу с Францией и Россией против Австрии и Англии? Но такой союз немедленно приведет к преобладающему влиянию Франции в Италии, к полному революционизированию этой страны и вместе с тем обеспечит преобладающее влияние Бонапарта в Германии. Из этого влияния нам уделили бы во второстепенных вопросах известную долю, но небольшую и не надолго. Ведь мы уже видели однажды Германию под русско-французским влиянием в 1801–1803 гг., когда епископства были секуляризованы и распределены по указке из Парижа и Петербурга; Пруссия, которая тогда была в добрых отношениях с этими обеими державами и в дурных – с Австрией и Англией, также получила при дележе кое-что, но очень немного, и влияние ее было в то время меньше, чем когда-либо».

Не входя в подробное обсуждение этого письма, я писал генералу 11 мая:

«...Мне сообщают из Берлина, что при дворе меня считают бонапартистом. Это несправедливо. В 1850 г. наши противники обвиняли меня в изменнической привязанности к Австрии и нас называли берлинскими венцами, потом решили, что от нас пахнет юфтью, и прозвали нас казаками с Шпрее. В то время на вопрос, за кого я – за русских или за западные державы, я всегда отвечал, что стою за Пруссию и считаю идеалом в области внешней политики отсутствие предубеждений, образ действий, независимый от симпатий или антипатий к иностранным государствам и их правителям. Что касается заграницы, то я всю жизнь питал симпатию к одной только Англии и ее обитателям, да и теперь еще не лишен подчас этого чувства, но они-то не хотят, чтобы мы их любили; я лично получу одинаковое удовлетворение, против кого бы ни двинулись наши войска – против французов ли, русских, англичан или австрийцев, безразлично, лишь бы мне доказали, что этого требуют интересы здоровой и хорошо продуманной прусской политики. Но в мирное время я считаю нелепым подрывом собственных сил навлекать на себя неудовольствие или поддерживать таковое, не связывая с этим никакой практической политической цели. Я считаю нелепым рисковать свободой своих будущих решений и союзов ради смутных симпатий, не встречающих взаимности, и идти только по доброте и из love of approbation [жажды одобрения] на такие уступки, каких Австрия ожидает от нас сейчас в отношении Раштатта. Если мы не можем теперь ожидать эквивалента за подобную услугу, то нам следует от нее воздержаться; случай использовать ее в качестве объекта соглашения представится, возможно, и позже. Соображения о пользе для Германского союза не могут быть *единственной* руководящей нитью прусской политики, ибо самым полезным для Союза было бы, несомненно, если бы мы и все немецкие правительства подчинились Австрии в военном, политическом и торговом отношениях в Таможенном союзе; под единым руководством Гер-

манский союз мог бы добиться гораздо большего и в военное и в мирное время, а в случае войны мог бы действительно быть устойчивым...»

Герлах отвечал мне 21 мая:

«Получив ваше письмо от 11-го с. м., я подумал, что это ответ на мою попытку возражения против вашего подробного письма от 2-го с. м. Я находился в напряженном состоянии, ибо мне крайне тяжело расходиться с вами во взглядах, и я надеялся, что мы договоримся. Однако ваши оправдания в ответ на сделанный вам упрек в бонапартизме показывают, что мы еще далеки друг от друга... Я так же твердо уверен в том, что вы не бонапартист, как в том, что большинство государственных деятелей не только у нас, но и в других странах действительно бонапартисты, как, например, Пальмерстон, Бах, Буоль и т. д.; знаю также а priori [заранее], что вам, наверно, попадалось немало экземпляров этой породы во Франкфурте и в Германии, чуть было не сказал – в Рейнском союзе. Уже то, как вы относились к оппозиции в последнем ландтаге, снимает с вас всякое подозрение в бонапартизме. Но именно поэтому мне совершенно непонятен ваш взгляд на нашу внешнюю политику.

Я также нахожу, что нельзя проявлять недоверчивость, упрямство и предвзятость к Бонапарту; надо в обращении с ним применять наилучшие *procedes* [приемы], но только не приглашать его сюда, как вы хотите; этим мы уронили бы себя, погрешили бы против здравого смысла, где он еще сохранился, возбудили бы недоверие и утратили бы свое достоинство. Поэтому я многое одобряю в вашем меморандуме; историческое введение (страницы 1–5) в высшей степени поучительно, да и большая часть из остального весьма приемлема; но, простите, не хватает головы и хвоста, нет ни принципа, ни цели политики.

1. Можете ли вы отрицать, что Наполеон III, как и Наполеон I, подвержен всем следствиям своего абсолютизма, основанного на народном суверенитете (*l'elu de 7 millions* [избранник 7 миллионов]), что он и сам сознает так же хорошо, как сознавал прежний [Наполеон]?

2. Франция, Россия и Пруссия – *triple alliance* [тройственный союз], в который Пруссия лишь вступает: «*Ich sei, gewahrt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte*»¹¹; она оказывается слабейшей из трех, и ей недоверчиво противостоят Австрия и Англия, она непосредственно способствует победе «*интересов Франции*», т. е. сперва ее господству в Италии, а затем в Германии. В 1801–1804 гг. Россия и Франция делили Германию и лишь немного отдали Пруссии.

3. Чем отличается рекомендуемая вами политика от политики Гаугвица в 1794–1805 гг.? И тогда речь шла лишь об «*оборонительной системе*». Тугут, Кобенцль, Лербак были ничем не лучше Буоля и Баха; Австрия была также вероломна; Россия была еще менее надежна, чем теперь; Англия, правда, была надежнее. Король в душе также не сочувствовал этой политике...

При расхождениях с вами мне часто приходит мысль, что я со своими взглядами устарел и что хотя я и не могу признать свою политику неправильной, все же, быть может, необходимо испробовать и другую политику, которую следует сейчас осуществить и преодолеть. В 1792 г. Массенбах был сторонником союза с Францией и в разгар войны написал об этом сочинение; начиная с 1794 г. Гаугвиц был сторонником оборонительной системы или нейтралитета и т. д. Революционный абсолютизм по существу своему носит завоевательный характер, ибо он может держаться внутри страны лишь при условии, что вокруг все обстоит так же, как и у него. Пальмерстон должен был поддержать выступление против бельгийской печати и т. п. По отношению к швейцарскому радикализму Наполеон III оказался весьма слабым, хотя, по его собственному признанию, Бонапарт считал радикализм неудобным для себя. И еще одна параллель. В 1812 г. Гнейзенау, Шарнгорст и еще немногие были против союза с Францией, который, как известно, состоялся и был осуществлен путем [посылки] вспомогательного кор-

¹¹ Заключительные строки баллады Шиллера «Порука»: «Примите меня в свой союз святой, Пусть буду я третьим меж вами!»

пуга. Успех говорил в пользу тех, кто хотел этого союза. Тем не менее я бы весьма охотно стал бы на сторону Гнейзенау и Шарнгорста. В 1813 г. Кнезебек стоял за перемирие, Гнейзенау был против; я, в то время 22-летний офицер, был решительным противником перемирия и, невзирая на [последовавший] успех, берусь доказать, что я был прав. *Victrix causa deis placuit, victa Catoni* [Дело победителей нравится богам, дело побежденных – Катону] – это также не лишено значения...

Вам не трудно будет провести политику оборонительной системы в союзе с Францией и с Россией, – прежде это называли политикой нейтралитета, и в восточном вопросе Англия не соглашалась примириться с нею; на вашей стороне Мантейфели и еще многие другие (его величество в душе будет, правда, не на вашей стороне, но займет пассивную позицию); но все они будут за вас лишь до тех пор, пока будет держаться бонапартизм. А мало ли что может за это время случиться? Я был бы очень рад, если бы вам удалось, оставшись не замешанным в эту историю, взять бразды в свои руки. Старый Бонапарт царствовал 15 лет, Луи-Филипп – 18; думаете ли вы, что нынешний строй продержится дольше?

Л. ф. Г.»



Император Франции Наполеон III. Худ. Ф.К. Винтерхальтер



Кавалеристы в бою под Балаклавой (Крымская война). Худ. У. Симпсон

Я писал в ответ:

«Франкфурт, 30 мая 1857 г.

Отвечаю на ваши последние два письма, угнетаемый сознанием несовершенства человеческого слова, особенно письменного; каждая попытка объясниться порождает новые недоумения; человеку не дано высказаться целиком на бумаге или устно, и нам не добиться, чтобы другие восприняли высказываемые нами обрывки мыслей так, как мы их сами воспринимаем, – отчасти в силу несовершенства нашей речи по сравнению с мыслью, отчасти по той причине, что привлекаемые нами внешние факты редко представляются двум людям в одинаковом свете, разве только один расположен принимать взгляды другого на веру, не имея собственного суждения.

Ко всевозможным помехам, вроде дел, гостей, хорошей погоды, лени, болезни детей и собственного [недомогания], присоединилось упомянутое чувство, и все это вместе было причиной того, что у меня нехватало духа отвечать на вашу критику новыми аргументами, каждый из которых сам по себе страдает неполнотой и имеет свои слабые стороны. Примите во внимание при оценке этих доводов, что я только что оправляюсь от болезни и выпил сегодня первый стакан мариенбадской, и если наши взгляды не сходятся, то ищите причину этого различия в писательском зуде, а не в сути дела, относительно которого я неизменно утверждаю, что мы с вами согласны.

Принцип борьбы с революцией я также признаю своим, но считаю неправильным выставить Луи-Наполеона как единственного или хотя бы только *κατ'εξοχήν* [по преимуществу] представителя революции; не нахожу возможным проводить этот принцип в политике таким образом, чтобы даже самые отдаленные его следствия ставились выше всяких иных соображений, чтобы он был, так сказать, единственным козырем в игре и самая малая карта его побивала даже туза другой масти.

Много ли осталось еще в современном политическом мире таких образований, которые не имели бы своих корней в революционной почве? Возьмите Испанию, Португалию, Бразилию, все американские республики, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Грецию, Швецию, нако-

нец, Англию, сознательно опирающуюся до сих пор на glorious revolution [славную революцию] 1688 г.; даже и на те владения, которые нынешние немецкие государи отвоевали частью у императора и империи, частью у равных им владетельных князей, частью у собственных сословий, у них нет в полной степени легитимных прав, и мы сами в нашей государственной жизни не можем избежать использования революционных основ. Многие из соответствующих явлений уже укоренились, и мы к ним привыкли, как ко всем *тем* чудесам, которые окружают нас повседневно и именно поэтому уже не кажутся нам чудесными, что, однако, никому не мешало ограничивать понятие «чуда» явлениями, несколько не более чудесными, чем факт нашего собственного рождения и обыденная жизнь человека.

Признавать какой-нибудь принцип главенствующим и всеобъемлющим я могу лишь, поскольку он оправдывается при всех обстоятельствах и во все времена; положение quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit [изначально порочное не исправится с течением времени] остается верным с точки зрения доктрины. Но даже в тех случаях, когда революционные явления прошлого не были освящены такой давностью, чтобы о них можно было сказать, как говорит ведьма в «Фаусте» о своем адском зелье («у меня имеется флакон; я лакомлюсь порой сама, когда придется. Притом несколько не воняет он»), даже и в то время люди не всегда были столь целомудренны, чтобы воздерживаться от любовных прикосновений. Весьма антиреволюционные властители называли Кромвеля «братом» и искали его дружбы, когда она представлялась полезной; весьма почтенные государи вступили в союз с Генеральными штатами [Голландии], еще прежде чем последние были признаны Испанией. Вильгельма Оранского и его преемников в Англии наши предки считали вполне кошерными даже в те времена, когда Стюарты предъявляли еще свои права на престол, а Соединенным Штатам Северной Америки мы простили их революционное происхождение еще по Гаагскому договору 1785 г. Ныне царствующий король Португалии посетил нас в Берлине, а с домом Бернадота мы породнились бы, если бы не возникли случайные препятствия.

Когда же и по каким признакам все эти силы перестали быть революционными? Очевидно, им прощается их не легитимное происхождение с того момента, как они перестают быть опасными для нас, и впоследствии не возникает принципиальных возражений, когда они без всякого раскаяния и даже с гордостью продолжают признавать бесправие своим источником.

Я не вижу примера до *Французской* революции, чтобы какой-нибудь государственный деятель – даже самый добросовестный и христианнейший – вздумал подчинять все свои политические стремления, все свое отношение к внутренней и внешней политике, принципу «борьбы с революцией», и только *этим* мерилom оценивал бы отношения своей страны к другим странам; а ведь принципы и американской революции и английской революции весьма сходны с теми, которые во Франции привели к нарушению правопреемственности, если не говорить о размерах кровопролития и различных, смотря по национальному характеру, бесчинствах в области религии. Я не могу допустить, чтобы до 1789 г. не нашлось ни одного столь же христианского и консервативного политического деятеля, так же хорошо понимавшего, в чем зло, как мы с вами, и чтобы от его внимания ускользнула истинность того принципа, который мы считаем основой *всякой* политики. Не нахожу к тому же, чтобы мы применяли этот принцип ко всем революционным явлениям *после* 1789 г. так же строго, как к Франции. Аналогичное правовое состояние в Австрии, процветание революции в Португалии, Испании, Бельгии и в современной, насквозь революционной Дании, открытое исповедание и пропаганда основных революционных идей английским правительством и применение их хотя бы в нейенбургском конфликте – все это не мешает нам смотреть на отношения нашего короля с монархами этих стран снисходительнее, чем на его отношения с Наполеоном III. Что же такого *особенного* в Бонапарте и во *Французской* революции вообще? Нелегитимное (unfurstliche) происхождение Бонапартов, разумеется, – немаловажное обстоятельство, но то же мы видим в Швеции, где оно не влечет, однако, подобных последствий. Не заключается

ли что-либо «особенное» именно в семействе Бонапартов? Но ведь не оно же породило революцию, и ни устранить, ни хотя бы обезвредить революцию не удалось бы даже с истреблением этой семьи. Революция гораздо старше Бонапартов, и ее основа куда шире Франции. Если искать ее источник на земле, то это следует делать не во Франции, а скорее в Англии, если не еще раньше в Германии или в Риме, смотря по тому, будем ли мы винить во всем крайности реформации или римского католицизма, или внедрение римского права в германский мир.

Наполеон I начал с того, что с успехом воспользовался революцией во Франции для своих честолюбивых целей, а затем пытался побороть ее безуспешно и негодными средствами; он с великой охотой вычеркнул бы ее из своего прошлого, после того как сорвал и прикарманил ее плоды; он содействовал революции в гораздо меньшей степени, нежели все три предшествовавшие ему Людовика – установлением абсолютизма при Людовике XIV, непристойностями регентства и Людовика XV, слабостью Людовика XVI, который при утверждении 14 сентября 1791 г. конституции объявил, что революция окончена; созрела-то она во всяком случае. Династия Бурбонов, если даже не ставить им в счет Филиппа Эгалитэ, сделала для революции больше, нежели все Бонапарты вместе взятые.

Бонапартизм не порождает революции; как и всякий абсолютизм, он только плодородная почва для ее семян; это отнюдь не означает, что я помещаю бонапартизм вне сферы революционных явлений; я хочу только показать его без примесей, не неизбежно присущих его существу. К таковым я отношу, далее, несправедливые войны и завоевания. Они не являются характерным атрибутом семейства Бонапартов или названной их именем системы правления. Так умеют поступать и законные наследники древних тронов. Людовик XIV в меру своих сил распоряжался в Германии не менее свирепо, чем Наполеон, и если бы последний со своими задатками и наклонностями родился сыном Людовика XVI, то, верно, также отравил бы нам существование.

Завоевательные стремления свойственны Англии, Северной Америке, России и другим не менее, чем наполеоновской Франции; если только хватит сил и представится случай, то даже легитимнейшую из монархий едва ли остановит скромность или любовь к справедливости. У Наполеона III этот инстинкт, видимо, не преобладает. Он не полководец, и в случае большой войны, которая ознаменовалась бы крупными победами или поражениями, взоры французской армии, носительницы его господства, скорее, пожалуй, обратятся на какого-нибудь удачливого генерала, нежели на императора. Поэтому он будет стремиться к войне только в том случае, если решит, что вынужден к тому *внутренними* опасностями. Но такая необходимость представилась бы с самого начала и легитимному королю Франции, если бы он теперь пришел к власти.

Итак, ни воспоминания о дяде с его *жаждой завоеваний*, ни самый факт *незаконного происхождения* власти нынешнего императора французов не дают мне права рассматривать его, как исключительного представителя революции и как предпочтительный объект борьбы с революцией. Второй порок он разделяет со многими существующими властями, а в первом заподозрить его можно пока не больше, чем других. Вы ставите ему в вину, многоуважаемый друг, что он не сможет якобы удержаться, если все вокруг не будет устроено так же, как у него; если бы я признал это справедливым, то этого было бы достаточно, чтобы поколебать мой взгляд. Но бонапартизм тем и отличается от республики, что ему *нет* надобности силой распространять свои принципы управления. Даже Наполеон I не старался навязать свою форму правления тем странам, которые прямо или косвенно не были присоединены к Франции; они, состязаясь друг с другом, добровольно подражали ему. Угрожать революцией другим государствам стало с некоторого времени специальностью Англии, и если бы Луи-Наполеон хотел того же, что Пальмерстон, мы были бы уже давно свидетелями восстания в Неаполе. Распространением революционных порядков на соседние страны французский император создал бы затруднения самому себе; при его убеждении в несовершенстве нынешних французских порядков он

скорее постарается в интересах упрочения своего господства и своей династии подвести под собственную власть более прочное основание, чем то, каким может служить для него революция. *Сможет* ли он это сделать – иной вопрос, но он ни в коем случае не закрывает глаз на несовершенство и опасности бонапартистской системы правления, ибо он прямо это заявляет и жалуется на нее. Нынешняя форма правления не представляет собой для Франции чего-то произвольного, что Луи-Наполеон мог бы установить или изменить: она была для него чем-то заранее данным, и, вероятно, это единственный способ, которым можно будет управлять Францией еще в течение долгого времени; для чего-либо другого отсутствует основание: оно либо отсутствует в самой основе, в национальном характере, либо было разрушено и утрачено; очутись сейчас на троне Генрих V, и он не мог бы править иначе, если бы вообще оказался в состоянии править. Луи-Наполеон не создал революционные порядки своей страны; власть он добыл не путем восстания против *законно* существующей власти, а попросту выудил ее как бесхозяйное имущество из водоворота анархии. Если бы он пожелал теперь сложить с себя власть, то поставил бы этим в затруднительное положение Европу, и его довольно единодушно попросили бы остаться, а уступил он свою власть герцогу Бордосскому, тот так же не сумел бы удержать ее, как не сумел добыть. Когда Луи-Наполеон называет себя *leu de sept millions* [избранником семи миллионов], он признает лишь факт, которого не мог бы отрицать. Он не смог бы приписать своей власти какое-либо иное происхождение помимо действительного; но нельзя о нем сказать, чтобы теперь, находясь уже у власти, он продолжал на практике придерживаться принципа народного суверенитета и считал для себя законом волю масс (что сейчас все сильнее чувствуется в Англии).

Для человека естественно, что притеснения и унижительное обращение, которым подверглась наша страна при Наполеоне I, производят неизгладимое впечатление на всех тех, кому пришлось это пережить, и что в их глазах тот, кого называли *l'heureux soldat heritier de la revolution* [удачливым солдатом – наследником революции], и весь его род отождествляется с принципом зла, с которым мы боремся в образе революции; но мне кажется, что вы возводите на нынешнего Наполеона слишком многое, когда именно в нем, и только в нем, усматриваете олицетворение ненавистной революции и на этом основании вносите его в проскрипционный список, объявляя всякие отношения с ним бесчестными. Любой знак революционности, который он носит на себе, вы находите и на других, но не обращаете, однако, против них свою ненависть с такой же доктринерской строгостью. Бонапартистская система внутреннего управления с ее грубой централизацией, уничтожением всякой независимости, ее презрением к праву и свободе, ее официальной ложью, ее коррупцией и в государственном аппарате и на бирже, ее бесхребетными и беспринципными писаками процветает в незаслуженно предпочитаемой вами Австрии, точно так же как и во Франции; при этом на берегах Дуная все это насаждается сознательно, свободным отпращиванием полноты власти, тогда как Луи-Наполеон застал этот режим во Франции как готовый, ему самому нежеланный, но не легко устранимый результат истории.

Я нахожу то «особенное», что побуждает нас сейчас называть революцией преимущественно именно *Французскую* революцию, не в семье Бонапартов, а в близости к нам событий и территориально и во времени, а также в величине и могуществе страны, где эти события разыгрались. Они поэтому опаснее, но я не нахожу, исходя из этого, что поддерживать отношения с Бонапартом *хуже*, чем с другими порождениями революции, или с правительствами, которые добровольно отождествляют себя с нею, как Австрия, и активно содействуют распространению революционных начал, как Англия. Всем этим я вовсе не хочу прославлять отдельные личности и порядки во Франции; к первым я никакого пристрастия не питаю, а последние считаю несчастьем для страны; я хочу только объяснить, почему я не считаю ни греховным, ни бесчестным войти в более близкие отношения с *признанным* нами монархом крупной державы, если это требуется ходом политических событий. Я не говорю, что такие отношения

были бы ценны *сами по себе*, я говорю только, что все прочие возможности хуже и что, желая их улучшить, мы должны действительно или для вида сблизиться с Францией. Только таким путем мы можем образумить Австрию и заставить ее поступиться своим чрезмерным шварценберговским честолюбием настолько, чтобы она подумала об установлении взаимопонимания с нами, а не пыталась всячески ущемить нас; только таким путем мы можем пресечь дальнейшее развитие непосредственных отношений средних германских государств с Францией. Равно и Англия начнет тогда понимать, как важен для нее союз с Пруссией, когда будет иметь основания опасаться, что может упустить эту возможность в пользу Франции. Следовательно, даже с точки зрения вашего предпочтения Англии и Австрии, мы должны начать с Франции, чтобы образумить первые две державы.

Вы предсказываете в своем письме, многоуважаемый друг, что мы будем играть в прусско-франко-русском союзе ничтожную роль. Я никогда не считал этот союз *целью наших стремлений*, а говорил о нем как о факте, который, очевидно, рано или поздно произойдет из нынешней *decousu* [неурядицы] и которому мы не можем помешать, с которым мы должны, следовательно, считаться и последствия которого мы должны заранее себе выяснить. Я прибавил при этом, что, поскольку Франция добивается *нашей* дружбы, мы, пойдя ей в этом навстречу, могли бы, возможно, помешать такому союзу или изменить его последствия и во всяком случае избежать необходимости присоединения к нему в качестве *«третьего»*. При всяком соединении с другими великими державами мы будем на положении относительно слабого до тех пор, пока мы не станем сильнее, чем сейчас. И Австрия и Англия, если бы мы вступили с *ними* в союз, использовали бы свое превосходство не в *наших* интересах; мы испытали это, к ущербу для себя, на Венском конгрессе. Австрия не сможет мириться с тем, чтобы мы приобрели значение в Германии; Англия не может мириться с развитием нашей морской торговли или флота и ревниво относится к нашей промышленности.

Вы проводите параллель между мной и Гаугвицем с его «оборонительной политикой». Но обстоятельства в то время были иные. Франция уже тогда обладала грозным превосходством сил, во главе ее стоял заведомо опасный завоеватель; на Англию, наоборот, можно было вполне рассчитывать. Я имею смелость *не* порицать Базельский мир; союз с тогдашней Австрией, с ее Тугутом, Лербахом и Кобенцлем был так же невыносим, как и с нынешней; и если в 1815 г. мы достигли немногого, то я не могу это отнести за счет Базельского мира; мы не могли одержать верх над интересами Англии и Австрии, противостоявшими нашим интересам, так как наша физическая слабость по сравнению с прочими великими державами не внушала страха. Государства Рейнского союза испытали «Базель» еще не так, как мы, и тем не менее они отлично преуспели на Венском конгрессе. С нашей стороны было поразительной глупостью не воспользоваться случаем в 1805 г. и не помочь сломить превосходство Франции; нам следовало напасть на Наполеона быстро, решительно и драться до последнего вздоха. Бездействие было еще непонятнее, чем выступление на стороне *Франции*; но, упустив этот случай, мы должны были и в 1806 г. *a tout prix* [любой ценой] соблюсти мир и выждать другого благоприятного случая.

Я вовсе не за «оборонительную политику», я говорю только, что мы можем без каких-либо агрессивных намерений и обязательств пойти навстречу попыткам сближения со стороны Франции; это даст нам то преимущество, что оставляет открытой любую дверь, сохраняет возможность поворота в любом направлении, впредь до того момента, когда положение вещей станет более прочным и ясным; предлагаемую мною линию я рассматриваю не как конспирирование против других, а лишь как меру предосторожности, необходимую для нашей самообороны.

Вы говорите: «Франция не сделает для нас более, чем Австрия и средние [немецкие] государства»; я думаю, что никто для нас не сделает ничего, если это не будет и в *его собственных* интересах. Но то направление, в каком Австрия и средние государства сейчас преследуют свои интересы, совершенно несовместимо с задачами, которые являются жизненными вопро-

сами для Пруссии, и никакая общность нашей политики немислима, пока Австрия не усвоит по отношению к нам более скромную систему [поведения], на что пока мало надежды. Вы согласны со мной в том, что мы «должны показать малым государствам превосходство Пруссии»; но каким средством для этого располагаем мы в рамках союзного акта? С одним голосом из 17 и имея противником Австрию – многого не добьешься.

Визит к нам Луи-Наполеона по указанным мною в другом месте причинам мог бы уже сам по себе придать нашему голосу большее значение в глазах мелких государств. Их уважение к нам и даже преданность будут прямо пропорциональны страху перед нами; доверять нам они никогда не будут, каждый взгляд на карту лишает их этого доверия; они понимают, что их собственные интересы и вожеления преграждают путь общему направлению прусской политики, что в этом таится для них опасность, против которой единственной гарантией в настоящее время является бескорыстие нашего всемилостивейшего государя. Посещение Берлина французом не увеличило бы недоверия к *Пруссии*, в общем и целом и без того уже существующего, а настроения короля, которые могли бы это недоверие рассеять, отнюдь не вызывают чувства благодарности к его величеству: его лишь используют и эксплуатируют. Предполагаемое «доверие» не даст нам в случае нужды ни одного солдата, тогда как страх, если мы сумеем его внушить, отдаст весь Союз в наше распоряжение. А внушить этот страх можно ощутительным показом наших добрых отношений с Францией.

Если что-либо подобное не будет предпринято, то, вероятно, не удастся долго поддерживать те приятные отношения с Францией, которые вы сами признаете желательными. Ибо теперь отсюда заискивают перед нами, чувствуют потребность заключить с нами брачный союз, надеются на свидание; отказ с нашей стороны вызвал бы охлаждение, которое не осталось бы незамеченным другими дворами, так как «*ragueni*» [«выскачка»] почувствовал бы себя [задетым] в самом чувствительном пункте.

Предложите мне какую-нибудь иную политику, и я готов обсудить ее с вами честно и без предубеждения; но, находясь в самом сердце Европы, мы никак не можем пассивно проводить бесплановую политику, радуясь, когда нас оставляют в покое. Такая политика может стать для нас теперь такой же опасной, как в 1805 г., и мы окажемся наковальной, если ничего не сделаем, чтобы стать молотом. Я не могу признать за вами права утешаться тем, что *victa causa Catoni placuit*, если вы при этом рискуете обречь наше общее отечество на *victa causa* [поражение]...

Если мои взгляды не находят у вас снисхождения, не произносите, по крайней мере, окончательного приговора, вспомните, что в тяжелые времена мы много лет не только трудились вместе на одной ниве, но и растили на ней одни и те же злаки; вспомните, что со мной можно столкнуться и я всегда готов признать свою неправоту, убедившись в этом...

ф. Б.»

Герлах отвечал:

«Сан-Суси, 5 июня 1857 г.

...Прежде всего я охотно признаю практическую сторону ваших взглядов. Нессельроде справедливо говорил здесь, как и вы, что, пока Буоль у власти (вы правильно упоминаете наряду с ним Баха), сотрудничество с Австрией невозможно. Австрия, рассыпаясь в громких уверениях в дружбе, восстановила, говорил он, против них (т. е. русских) всю Европу, оторвала у них кусок Бессарабии и сейчас еще причиняет им тяжкое огорчение. Подобным же образом Австрия обращается и с нами, а во время Восточной войны она вела себя до гнусности вероломно. Итак, когда вы говорите, что с Австрией вместе идти нельзя, то это *относительно* верно, и *in casu concreto* [в конкретном случае] мы едва ли разойдемся с вами на этот счет. Однако не забывайте, что одно прегрешение всегда рождает другое и что Австрия также может предъявить нам список прескверных грешков, как, например, противодействие

в 1849 г. вступлению в Баденский озерный округ, что, собственно, и привело к потере Нейенбурга, который должен был тогда завоевать принц Прусский; затем политика Радовица; далее, высокомерное отношение в период интерима, когда даже Шварценберг проявлял добрую волю, и, наконец, множество менее значительных деталей: все сплошь повторение политики 1793–1805 гг. Но тот взгляд, что наши дурные отношения с Австрией должны быть лишь *относительно* дурными, практичен при всех обстоятельствах, поскольку он, во-первых, удерживает нас от мести, способной привести только к беде, и, во-вторых, сохраняет волю к примирению и сближению, а следовательно, устраняет все то, что могло бы помешать такому сближению. И то и другое у нас отсутствует. А почему? Потому, что наши государственные люди *donnent dans le Bonapartisme* [ударяются в бонапартизм].

Но о последнем скорее могут судить старики, чем молодые. Стариками же в данном случае являются король и аз грешный, молодыми – Фра Дьяволо [Мантейфель] и т. д., ибо Ф[ра] Д[ьяволо] в 1806–1814 гг. был в Рейнском союзе, а вас еще на свете не было. Мы же десять лет изучали бонапартизм на практике, нам хорошо его вдалбливали. Поэтому все наши расхождения сводятся – ибо в основе мы единодушны – лишь к различному пониманию сути этого явления. Вы говорите: Людовик XIV был тоже завоевателем; австрийское *Viribus unitis* [общими силами] также революционно; Бурбоны более повинны в революции, нежели Бонапарты, и т. д. Вы заявляете, что положение «*quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit*» правильно только с точки зрения доктрины (я не согласен даже с этим, ибо из всего неправого может возникнуть правое и возникает с течением времени; из установленной вопреки Божьей воле царской власти во Израиле вышел спаситель; столь признанное первородство нарушается Рувимом, Авессаломом и т. д.; на Соломона, прижитого с прелюбодейкой Вирсавией, нисходит благословение Господне и т. д. и т. п.). Но когда вы все это валите в одну кучу с бонапартизмом, то это свидетельствует о полном непонимании сущности бонапартизма. Бонапарты – и Н[аполеон] I и Н[аполеон] III – отличаются не только революционным неправомерным происхождением своей власти, как это свойственно, пожалуй, и Вильгельму III, и королю Оскару, и т. д.; они сами воплощение революции. Оба, и № 1 и № 3, ощущали в этом свою беду, но избавиться от этого оба были не в силах. Прочтите забытую сейчас книгу «*Relations et Correspondances de Nap. Bonaparte avec Jean Fievee*» [«Отношения и переписка Наполеона Бонапарта с Жаном Фьеве»], вы найдете там глубокие взгляды старого Наполеона на сущность государств; да и нынешний Бонапарт импонирует мне такими идеями, как, например, признание дворянских титулов, восстановление майората, понимание опасности централизации, борьба против биржевой спекуляции, стремление восстановить старые провинции и т. д. Но это не меняет существа его власти, так же как и существо Габсбургско-Лотарингского дома не меняется от наличия в его составе либерального и даже революционного и [мператора] Иосифа II или Фр[анца] Иосифа с его высокоаристократическим Шварценбергом и баррикадным героем Бахом. *Naturam expeilas furca* [Гони природу в дверь...]. Никакой Бонапарт не может поэтому отречься от народного суверенитета, он и не делает такой попытки. Как показывает цитированная выше книга, Наполеон I отказался от своего стремления отречься от своего революционного происхождения, когда велел, например, расстрелять герцога Ангиенского; так же будет действовать Наполеон III, и так он уже поступил, например, при нейенбургских переговорах, когда ему представлялась наилучшая, и при других обстоятельствах весьма желанная, возможность восстановить Швейцарию. Однако он убоился лорда Пальмерстона и английской прессы, что честно признал Валевский, Россия убоилась его, Австрия – и его и Англии, и таким путем состоялась эта позорная сделка. Не странно ли, – мы имеем глаза и не видим, имеем уши и не слышим, – что тотчас же за нейенбургскими переговорами следует история с Бельгией, победа либералов над клерикалами, победоносный союз парламентского меньшинства с уличным восстанием против парламентского большинства. Но тут, оказывается, не должно быть вмешательства со стороны легитимных держав – этого Бонапарт безусловно не потерпел

бы; если же все это не уgomонится, то бонапартизм вмешается – вряд ли, однако, в пользу клерикалов или конституции, скорее в пользу суверенного народа.

Бонапартизм – это не абсолютизм и даже не цезаризм; первый может опираться на *jus divinum* [божественное право], как в России или на Востоке, он поэтому не затрагивает тех, кто не признает этого *jus divinum*, для кого он не существует, разве лишь вздумается такому автократу объявить себя бичом божьим, как Атилла, Магомет или Тимур, но ведь это исключение. Цезаризм есть захват *imperii* [высшей власти] в правомерной республике и оправдывается необходимостью; но для всякого Бонапарта волей-неволей, хочет он того или не хочет, революция, т. е. народный суверенитет, есть внутреннее, а при любом конфликте или нужде – и внешнее правовое основание. По этой причине меня не может удовлетворить ваше сравнение Бонапарта с Бурбонами, с абсолютистской Австрией, как не удовлетворяет меня и ссылка на индивидуальный характер Наполеона III, который мне во многих отношениях тоже импортирует. Не *он*, так его преемник будет завоевателем, хотя *prince imperial* [наследный принц империи] имеет шансов на трон не многим больше многих других и во всяком случае меньше, чем Генрих V. В этом смысле Наполеон III наш такой же естественный враг, каким был Наполеон I, и я хочу лишь, чтобы вы это имели в виду, а вовсе не желаю, чтобы мы с ним ссорились, дразнили его, раздражали, отвергали его ухаживания; но наша честь и право обязывают нас к сдержанности по отношению к нему. Он должен знать, что мы не подготовляем его свержения, что мы относимся к нему без враждебности, искренно, но пусть знает также, что мы считаем происхождение его власти опасным (да и он так думает), и если он попробует использовать это, мы окажем ему противодействие. Это он, да и вся остальная Европа должны знать, не дожидаясь наших заявлений; в противном случае он накинуд бы на нас аркан и потащил бы куда вздумается. Суть хорошей политики именно в том и заключается, чтобы, не доводя дела до столкновения, внушать доверие тому, с кем мы действительно единомысленны. Но для этого надо откровенно говорить с людьми, а не ожесточать их, как делает Ф[ра] Д[ьяволо], молчаливостью и коварными выходками. На [совести] Пруссии тяжкий грех: она первая из трех держав Священного союза признала Луи-Филиппа и побудила других к тому же. Луи-Филипп правил бы еще, быть может, и теперь, если бы с ним были искренни, почтнее показывали ему зубы и тем самым напоминали о том, что он узурпатор.

Говорят об изолированном положении Пруссии; но как можно искать прочных союзов, *si* [если], как выразился император Франц в 1809 г. на Венгерском сейме, *totus mundus stultiziat* [весь мир сошел с ума]? Политика Англии с 1800 до 1813 г. была направлена к тому, чтобы отвлекать Бонапарта на континенте и не допустить тем самым десанта в Англии, к чему он всерьез стремился в 1805 г. Теперь Наполеон занят военными приготовлениями во всех своих портах, чтобы высадить в нужный момент десант, а легкомысленный Пальмерстон враждует со всеми континентальными державами. Австрия не без основания опасается за свою Италию и враждует с Пруссией и Россией – единственными державами, которые не противодействуют ей там; она сближается с Францией, еще с XIV века с вождением взирающей на Италию, и доводит до крайности Сардинию, которая держит в своих руках входы и выходы Италии; она перемигивается с Пальмерстоном, который усердно раздувает и поддерживает восстание в Италии. Россия начинает либеральничать во внутренней политике и ухаживает за Францией. С кем же следует соединяться? Возможно тут что-либо иное, кроме выжидания?

В Германии прусское влияние столь невелико потому, что король никак не решается показать немецким государям свое неудовольствие. Как бы странно они себя ни вели, их все же рады видеть и в Сан-Суси и на охоте. В 1806 г. Пруссия начала войну с Францией при очень неблагоприятных предзнаменованиях, тем не менее за ней последовали Саксония, Кургессен, Брауншвейг, Веймар, тогда как Австрия уже в 1805 г. оказалась без всякой свиты...

Л. ф. Г.»

Я не видел оснований дальнейшими возражениями продолжать эту по существу бесцельную переписку.

Глава девятая Путешествия. Регентство

I

В следующем, 1856 году король снова начал сближаться со мною. Мантейфель, а быть может, и некоторые другие лица опасались, как бы я не приобрел влияния в ущерб им. Ввиду этого Мантейфель предложил мне министерство финансов, с тем что он пока сохранит за собою председательствование и ведомство иностранных дел, а со временем поменяется со мною местами и, сохранив пост председателя, возьмет министерство финансов, а мне отдаст министерство иностранных дел. Предложение это исходило якобы от него лично. Хотя оно показалось мне странным, я не отклонил его прямо, а только напомнил Мантейфелю, что, когда я был назначен посланником при Союзном сейме, газеты отнесли ко мне шутку остроумного декана Вестминстерского аббатства о лорде Джоне Росселе: такого сорта человек возьмется и фрегатом командовать, и камень из почки удалить. Если бы я стал министром финансов, то дал бы лишний повод для таких суждений, хотя и мог бы подписывать бумаги не хуже Бодельшвинга, министерская деятельность которого в этом и заключалась. Все зависит от того, долго ли это промежуточное состояние продлится. Предложение это на самом деле исходило от короля, и когда его величество спросил Мантейфеля, чего он добился, тот отвечал: «Он попросту высмеял меня».

Когда король неоднократно предлагал, или, верней, приказывал мне принять портфель Мантейфеля, повторяя: «Сколько ни вертитесь, вам ничто не поможет, вы должны стать министром», – я чувствовал в этих словах главным образом желание привести Мантейфеля к покорности, к «послушанию». Впрочем, если бы даже его величество говорил это серьезно, я все же не мог бы отделаться от уверенности, что при нем мне не удалось бы сохранить приемлемое для меня положение в качестве министра.

В марте 1857 г. в Париже начались переговоры для разрешения спора, возникшего между Пруссией и Швейцарией. Император, располагавший всегда самыми точными сведениями о том, что происходило в придворных и правительственных кругах Берлина, очевидно, знал, что король был со мною в более близких отношениях, нежели с прочими посланниками, и что он неоднократно имел меня в виду как кандидата на министерский пост. Во время переговоров со Швейцарией император занял внешне доброжелательную, особенно по сравнению с австрийской, позицию по отношению к Пруссии и считал себя, видимо, в праве рассчитывать на уступчивость Пруссии в других вопросах; он сказал мне однажды, что его совершенно напрасно обвиняют в том, будто он стремится к установлению границы на Рейне. Левый, немецкий берег Рейна, с его тремя миллионами жителей, был бы для Франции, по его словам, весьма ненадежной границей по отношению к Европе; в таком случае логика вещей толкала бы Францию к завоеванию также Люксембурга, Бельгии и Голландии или, по крайней мере, к установлению их прочной зависимости от нее. Таким образом, установление границы на Рейне рано или поздно дало бы Франции лишних 10 или 11 миллионов трудоспособного зажиточного населения. Подобное усиление французского могущества было бы признано Европой нетерпимым – «devrait engendrer la coalition» [«породило бы коалицию»], поддержать его было бы труднее, чем достигнуть, – «un depot que l'Europe coalisee un jour viendrait reprendre» [«приобретение, которое европейская коалиция в один прекрасный день постаралась бы отнять»]; притязания, напоминающие времена Наполеона I, являются по нынешним обстоятельствам чрезмерными; всякий сказал бы, что рука Франции действует против других [держав], и поэтому все прочие

начали бы действовать против Франции. Быть может, сказал Наполеон, он еще и потребует при некоторых обстоятельствах «une petite rectification des frontieres» [«небольшого исправления границ»] для удовлетворения национального самолюбия, но может прожить и без этого. Если бы ему снова нужна была война, он искал бы ее скорей в направлении Италии. Во-первых, эта страна все же весьма сходна с Францией, а во-вторых, могущество Франции как континентальной державы и число ее побед на суше и так велики. Для французов гораздо заманчивее увеличение их морской мощи. Он не думает о том, чтобы превратить Средиземное море просто во французское озеро, «mais a peu pres» [«но вроде того»]. Француз по природе своей не моряк, а хороший сухопутный солдат, именно поэтому успехи на море особенно льстят ему. Это был, по его словам, единственный мотив, побудивший его способствовать разгрому русского флота на Черном море, ибо, если бы Россия располагала когда-нибудь таким прекрасным боевым материалом, как греческие матросы, она могла бы стать слишком опасным соперником на Средиземном море. Мне показалось, что, говоря это, император был не вполне искренен, что он скорей сожалел о разгроме русского флота и старался задним числом оправдать результат этой войны, в которую Англию под его влиянием, как выразился английский министр иностранных дел, снесло, подобно кораблю без руля – we are drifting into war [мы втянулись в войну].



Император Александр II Освободитель. Худ. Н. Лавров



Фельдмаршалский зал Зимнего дворца. Худ. В. Садовников

Результатом будущей войны могло быть, по мнению императора, сближение между Францией и Италией и установление зависимости Италии от Франции, возможно, даже приобретение Францией кое-каких прибрежных пунктов. Для осуществления этой программы необходимо, чтобы Пруссия не противодействовала ей. Франция и Пруссия нуждаются друг в друге. Он считает ошибкой, что в 1805 г. Пруссия не была на стороне Наполеона, как прочие немецкие государства. Весьма желательно, сказал он, чтобы мы [Пруссия] упрочили свои владения приобретением Ганновера и приэльбских герцогств и таким образом заложили основу к усилению Пруссии на море. Необходимо создать морские державы второго ранга, которые, соединив свои боевые силы с французскими, покончили бы с подавляющим превосходством Англии. Тут не было бы никакой опасности ни для этих государств, ни для всей остальной Европы, так как они объединились бы не ради односторонних эгоистических французских интересов, а для борьбы за свободу морей, против засилья Англии. Прежде всего ему желательно заручиться нейтралитетом Пруссии на случай войны с Австрией из-за Италии. Хорошо было бы, чтобы я позондировал короля по всем этим вопросам.

Я отвечал, что вдвойне обрадован тем, что император высказал эти соображения мне, а не кому-либо иному: во-первых, я вижу в этом доказательство его доверия ко мне, а во-вторых, из всех прусских дипломатов, пожалуй, я один решусь умолчать об этом у себя дома и даже перед своим государем. Я убедительно просил его отказаться от этих мыслей; король Фридрих-Вильгельм IV абсолютно не в состоянии согласиться на подобные предложения; если они будут ему переданы, то в отрицательном ответе не приходится сомневаться. В последнем случае возникла бы серьезная опасность нескромности, которая могла бы быть проявлена в личном общении монархов, или намек на то, перед какими соблазнами устоял король. Если бы другое немецкое правительство оказалось в состоянии сообщить в Париж о подобной нескромности, то этим были бы нарушены столь ценные для Пруссии хорошие отношения с Францией. «*Mais ce ne sera it plus une indiscretion, ce serait une trahison!*» [«Но это была бы уж не нескромность, это была бы измена!»], – прервал меня император с некоторой тревогой. «*Vous vous embourbriez!*» [«Вы увязли бы в трясине!»], – добавил я.

Император нашел это выражение метким и образным и повторил его. Наш разговор кончился тем, что он поблагодарил меня за откровенность, а я обещал ему умолчать обо всем, что слышал от него.

II

В том же году я использовал каникулы в работе сейма, чтобы отправиться на охоту в Данию и Швецию. В Копенгагене я имел 6 августа аудиенцию у короля Фридриха VII. Он принял меня в полной парадной форме, с каской на голове, и занимал меня выпрененным описанием разных происшествий, пережитых им в сражениях и штурмах, в которых он вовсе не участвовал. На мой осторожный вопрос, долго ли, по его мнению, просуществует конституция (вторая общая конституция от 2 октября 1855 г.), он отвечал, что поклялся отцу, лежавшему на смертном одре, соблюдать ее; он забыл при этом, что в год смерти его отца (1848 г.) этой конституции и в помине не было. Во время нашего разговора я заметил на стене соседней, залитой солнцем галереи тень женской фигуры; оказалось, что король говорил не для меня, а для графини Даннер, об отношениях которой к его величеству я слышал странные анекдоты. Я имел тогда же случай беседовать со многими видными деятелями Шлезвиг-Гольштейна; никто из них и слышать не хотел о том, чтобы их страна могла стать одним из маленьких немецких государств; «им приятнее чувствовать себя хоть чуточку европейцами, в Копенгагене».

В Швеции во время охоты, 17 августа, я наскочил на выступ скалы и сильно ушиб берцовую кость; к сожалению, я не обратил на этот ушиб должного внимания, так как спешил в Курляндию охотиться на лося. Возвращаясь из Копенгагена, я приехал 26 августа в Берлин и 3 сентября принял участие в большом смотре, надев впервые белый мундир, только что введенный тогда для полка «тяжелой кавалерии». Из Берлина я поехал в Курляндию.

8 июля король из Мариенбада отправился в Шенбрунн на свидание с австрийским императором. На обратном пути он 13 июля прибыл с визитом к саксонскому королю в Пильниц, где в тот же день «почувствовал недомогание»; в бюллетенях придворных врачей это объяснялось поездкой, совершенной в сильную жару; отъезд из Пильница был отложен на несколько дней. Когда король 17 июля возвратился в Сан-Суси, окружающие, и главным образом Эдвин Мантейфель, заметили у него симптомы умственного переутомления, причем Мантейфель всячески старался не допускать или прерывать беседы короля с другими лицами. Политические впечатления, оставшиеся у короля от его пребывания у родных в Шенбрунне и Пильнице, подействовали на него удручающим образом, а споры крайне утомили его. Во время строевого учения, 27 июля, я ехал верхом подле короля; беседа с ним, я заметил, что мысль ускользает от него, и оказался вынужденным вмешаться в то, как он управлял лошадей.

Состояние его ухудшилось после того, как, провозжая 6 октября на вокзал Нижнесилезской железной дороги русского императора, отчаянного курильщика, он пробыл довольно долго в закрытом царском салон-вагоне в атмосфере табачного дыма, которого не переносил точно так же, как и запаха сургуча¹².

Вскоре, как известно, с ним случился удар. В высших военных кругах было распространено представление, что нечто подобное произошло с ним в ночь с 18 на 19 марта 1848 г. Врачи совещались о том, пустить ли ему кровь или нет, опасаясь, что в первом случае это могло повлиять на мозг, а во втором – создать угрозу для жизни; спустя несколько дней решились, наконец, пустить кровь, и король пришел в сознание.

В эти дни, когда принц Прусский мог считаться с возможностью стать в ближайшем будущем королем, он совершил со мною 19 октября большую прогулку по вновь разбитому парку;

¹² Даже собственноручные письма короля запечатывались не в его присутствии, что имело свою весьма сомнительную сторону.

он говорил о том, следовало ли ему, придя к власти, принять конституцию без изменений или же потребовать ее предварительного пересмотра. Я сказал, что отклонение конституции могло бы быть оправдано только в том случае, если бы здесь было применимо ленное право, в силу которого наследник обязан исполнять распоряжения отца, но не брата. Я советовал, однако, принцу, по соображениям политического характера, не затрагивать вопроса о конституции и не нарушать внутреннего спокойствия государства, хотя бы условным ее отклонением. Не следует возбуждать опасений, что при каждой смене на престоле должна меняться система [правления]. Значение Пруссии в Германии и ее дееспособность на европейском поприще уменьшились бы в результате разлада между правительством и ландтагом; несомненно, вся либеральная Германия будет *против* этого шага. Рисуя возможные последствия, я в данном случае руководствовался теми же соображениями, какие мне пришлось высказать ему в 1866 г. по поводу индемнитета, а именно, что конституционные вопросы имеют второстепенное значение сравнительно с нуждами страны и с ее политическим положением в Германии и что в данный момент нет настоятельной необходимости касаться этого вопроса; теперь важнее всего проблема силы (*die Machtfrage*) и наша внутренняя сплоченность.

Вернувшись в Сан-Суси, я заметил, что Эдвин Мантейфель был чрезвычайно встревожен и озабочен моей продолжительной беседой с принцем и возможностью моего дальнейшего вмешательства. Он спросил меня, почему я не возвращаюсь на свой пост, где могу быть весьма полезен при теперешних обстоятельствах. «Здесь я гораздо полезнее», – ответил я.

Высочайшим указом от 23 октября принц Прусский был сначала уполномочен королем замещать его в течение трех месяцев. Затем этот срок трижды удлинялся, каждый раз на три месяца, и истек бы без нового продления в октябре 1858 г. Летом 1858 г. была сделана серьезная попытка повлиять на королеву, чтобы она добилась от короля подписи на письме к его брату; в этом письме было бы сказано, что его здоровье в достаточной мере восстановлено, что он в состоянии сам управлять государством и благодарит принца, действовавшего в качестве его заместителя. Доводы были таковы: раз королевское письмо дало принцу полномочия заместителя, то же королевское письмо может и лишить его этих полномочий. Предполагалось, что страной будет управлять под контролем королевской подписи ее величество королева при содействии призванных к тому или предложивших свои услуги придворных лиц. Мне также было в словесной форме предложено содействовать осуществлению этого плана, но я отклонил всякое участие в нем, сказав, что такое правление будет носить гаремный характер. Меня вызвали из Франкфурта в Баден-Баден, и я сообщил принцу об этом плане, не называя его инициаторов. «В таком случае я подам в отставку!» – воскликнул принц. Я обратил его внимание на то, что уход его с военных постов не поможет делу, а только ухудшит положение. Настоящий план может быть осуществлен только в том случае, если государственное министерство будет втайне сочувствовать ему. Поэтому я посоветовал вызвать телеграммой министра Мантейфеля, который выжидал в своем имении осуществления известного ему плана, и не медля перерезать нить интриги соответствующими распоряжениями. Принц согласился. Вернувшись во Франкфурт, я получил от Мантейфеля следующее письмо:

«Чсть имею уведомить ваше высочорodie, что я намерен выехать в четверг 22 числа сего месяца в 7 часов утра отсюда во Франкфурт н/М[айне], с тем чтобы на следующее утро отправиться как можно ранее в Баден-Баден. Мне было бы приятно, если бы ваше высочорodie соблагволили сопровождать меня. По всей вероятности, со мною поедут моя жена и сын, которые находятся еще в имении, но которых я ожидаю сюда завтра.

Я не желаю, чтобы во Франкфурте было известно о моем приезде, но позволяю себе предупредить о том ваше высочорodie.

Мантейфель

Берлин, 20 июля 1858 г.»

Дальнейшее развитие вопроса о заместительстве выясняется из следующего письма Мантейфеля:

«Наша важная акция, касающаяся государства и его главы, тем временем наполовину закончена. Она доставила мне множество забот, неприятностей и незаслуженных обид. Не далее как вчера я получил от Герлаха очень раздраженное письмо. Он находит, что это почти равносильно тому, чтобы выкинуть суверенитет в окно. При всем желании я не могу с ним согласиться; лично я представляю себе это дело так:

У нас есть король, хотя и дееспособный, но не способный править государством; ему самому ясно, и не может не быть ясно, что он уже более года не в состоянии править; врачи, точно так же как и он сам, не могут даже приблизительно указать время, когда он будет в состоянии самостоятельно править страной; неестественное продление действовавших до сих пор полномочий неуместно: государству необходимо иметь главу, который был бы ответственен только перед самим собою; руководствуясь всеми этими соображениями, король повелит тому, кто призван наследовать престол после него, поступить так, как предписано в подобном случае конституцией страны. После этого вступят в действие постановления конституции, именно в данном пункте изложенные правильно и в монархическом духе, и последует, хотя после заявления короля и излишнее, однако не без основания предписываемое конституцией голосование ландтага, впрочем, строго ограниченное ответом на вопрос: необходимо ли учреждение регентства? Иными словами: с достаточным ли основанием король отстранен от дел? Не представляю себе, каким образом на этот вопрос можно было бы ответить отрицательно. Тем не менее предстоят еще некоторые затруднения, преимущественно формального свойства. В частности в конституции не указан регламент предусмотренного ею соединенного заседания. Придется его сымпровизировать; тем не менее я надеюсь, что дней в пять удастся довести дело до резолюции; тогда принцу останется принести присягу и закрыть собрание. Само собою разумеется, что другие вопросы, в частности касающиеся утверждения кредитов, на этом заседании не будут подлежать рассмотрению. Если дела вам позволят, мне было бы очень желательно, чтобы вы были здесь, и по возможности до открытия сессии ландтага. До меня дошли сведения *о странных предложениях крайней правой*, которым следовало бы препятствовать не только в общих интересах, но даже в интересах самих этих господ.

Отставка Вестфалена именно в данный момент была для меня крайне нежелательной. Я уже воспротивился ей однажды, когда он сам ее добивался. Теперь принц намерен был дать ему отставку по [собственному] совершенно свободному решению, без всякой его просьбы и прислал мне соответствующее частное письмо для Вестфалена с приказанием немедленно представить надлежащий документ. Однако я воздержался от этого, а также от отправки собственноручного письма и представил ответные соображения, касающиеся несвоевременности момента, причем возражения мои, не без значительных усилий с моей стороны, достигли цели. Я был уполномочен приостановить, по крайней мере, выполнение приказа и оставить письмо у себя. Но тут Вестфален обратился 8-го сего месяца к принцу и ко мне с весьма странным посланием, в котором он, беря назад прежние заявления, обуславливает свою контрассигновку уже готовых к обнародованию указов требованием, чтобы и последующие указы принца представлялись особо на одобрение короля; при ухудшившемся за последние дни психическом состоянии короля такое требование граничит фактически с бессмыслицей. Принц потерял терпение и стал укорять меня за то, что я не отослал его письма тотчас же, и настаивать далее было уже безнадежно. Выбор Флотвеля сделан был принцем самостоятельно, без всякого моего участия. Он имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Берлин, 12 октября 1858 г.»

Я приехал к открытию ландтага, выступил на заседании фракции против тех лиц, от которых исходила попытка воспрепятствовать утверждению (Votirung) регентства конституционным порядком, и энергично доказывал необходимость утвердить его, что и последовало.

После того как 26 октября принц Прусский принял на себя регентство, Мантейфель спросил меня, как ему поступить, чтобы избежать отставки помимо собственного желания, и дал мне по моему настоянию прочесть свою переписку последнего времени с регентом. Мой ответ, что принц, очевидно, намерен уволить его в отставку, показался ему неискренним, быть может, даже продиктованным честолюбием. 6 ноября он на самом деле получил отставку. Его место занял князь Гогенцоллерн с министерством «новой эры».

III

В январе 1859 г. на балу у Мустье или у Кароли граф Штильфрид бросил мне шуточный намек, из которого я мог заключить, что мне предстоит уже неоднократно намечавшийся перевод из Франкфурта в Петербург; к этому он присовокупил благожелательное замечание: «Per aspera ad astra» [«Через тернии к звездам»]. Граф, вероятно, получил эти сведения благодаря своим близким отношениям ко всем католикам, составлявшим личный штат принцессы, начиная от обер-камергера и кончая камердинером. Мои отношения с иезуитами в то время ничем еще не были омрачены, и Штильфрид еще относился ко мне благожелательно. Я понял его прозрачный намек, отправился на следующий день (26 января) к регенту, сказал ему откровенно, что слышал, будто меня переводят в Петербург, и позволил себе выразить по этому поводу сожаление, а также надежду, что назначение может быть еще отменено. «Кто сказал вам это?» – спросил в свою очередь принц в ответ на мой вопрос. Я заметил, что с моей стороны было бы нескромностью назвать то лицо, от которого я это слышал; могу только сказать, что это известие получено мною из лагеря иезуитов, с которым я издавна поддерживал отношения. Я сожалею о предполагаемом моем перемещении, потому что во Франкфурте, этой лисьей норе Союзного сейма, я изучил все ходы и выходы вплоть до малейших лазеек и полагаю, что мог бы быть там полезнее любого из моих преемников, которому придется заново осваиваться с очень сложным положением, обусловленным взаимоотношениями со множеством дворов и министров; передать же ему мой восьмилетний опыт, приобретенный при весьма быстро меняющихся обстоятельствах, я не в силах. Каждый немецкий государь, каждый немецкий министр знаком мне лично точно так же, как придворные круги в княжеских резиденциях союзных государств, и я пользуюсь в сейме и при немецких дворах всем тем влиянием, какое только возможно для представителя Пруссии. В случае отозвания меня из Франкфурта этот капитал, накопленный и завоеванный прусской дипломатией, будет бесцельно утрачен. Назначение на мое место Узедома подорвет доверие [к нам] немецких дворов, так как он отличается смутным либерализмом и скорее – тароватый на анекдоты придворный, нежели государственный деятель. Что же касается госпожи фон Узедом, то своей эксцентричностью она произведет во Франкфурте нежелательное впечатление и поставит нас в неловкое положение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.